

ПИСАТЕЛЬ С РОДНОГО БЕРЕГА

Его жизнь состоятельна. Писательская стезя удачлива. Творчество востребовано и желанно. А главное, как ни далеко его сегодняшней дом в Сан-Франциско, но душой он прикипел к родным берегам. Об этом писатель Эдуард Пашнев однажды сказал в интервью: «Я никуда не уезжал из России. Я просто приехал в Америку. Так сложилась жизнь моей семьи. О России помню всегда. Я не смотрю на свою родину с другого континента. Смотрю все события изнутри. Здесь, в Америке, ежедневно смотрю новости по российскому телевидению. Читаю, пишу, потому что художественное творчество в слове доставляет мне удовольствие. Пишу не потому, что востребован, а потому, что творить в слове художественный мир — наслаждение...»

С Воронежем связаны 50 лет его жизни. Здесь он родился, рос. Это были трудные годы отроческого становления, с военным и послевоенным лихолетьем, молодым дерзновенным литературным порывом и творческим триумфом в середине 1970-х годов. Пьеса Эдуарда Пашнева «Хроника одного дня» о героической и трагической судьбе народного президента Чили Сальвадоре Альенде, поставленная в Кольцовском театре режиссером Глебом Дроздовым, имела ошеломительный успех. За эту работу писатель и режиссер были удостоены звания лауреатов Государственной премии РСФСР.

Отметим, что и до этого произведения Эдуарда Пашнева имели большую всесоюзную аудиторию. Например, роман «Девочка и олень», впервые вышедший в Воронеже, затем многократно переиздавался по всей стране. История гениальной юной художницы Нади Рушевой и сегодня трогает читателей. Она умерла в 17 лет, но успела создать более 12 тысяч рисунков к произведениям почти полусотни авторов. В связи с этим примечательна такая история. В 1965 году в № 3 молодежного журнала «Юность» Эдуард Пашнев опубликовал повесть «Ньютоново яблоко», иллюстрации к которой сделала 13-летняя школьница... Надя Рушева.

Такая встреча двух талантливых людей символична. Лев Кассиль, руководитель семинара Литинститута, в котором учился Эдуард Пашнев, так писал о своем ученике: «Пашнев любит необыкновенное. Потому что ему близок мир детства, а для ребят ведь на свете так много необыкновенного, еще не узнанного, таинственно неведомого... Но необыкновенное у Э. Пашнева – это совсем не одно и то же, что неправдоподобное. Удивительное и неожиданное, что

он умеет подметить, на самом деле существует возле нас – надо лишь обладать зоркостью художника, чтобы приметить это...»

Своим читателям и почитателям Эдуард Иванович Пашнев презентовал более 30 книг прозы и поэзии, порядка 20 пьес, три киносценария. В 1981 году местные литераторы избрали его председателем Воронежской писательской организации... Таковы далеко не полные славные вехи минувших дней одаренного воронежского писателя, яркого, неординарного человека.

Он помнит о своей родине. При любом удобном случае старается приехать в Воронеж, заглянуть в Тольятти, где он тоже жил и работал. А несколько лет назад редакция журнала «Подъём» стараниями нашего давнего автора Николая Николаевича Тимофеева возобновила с Эдуардом Ивановичем творческие контакты. Наши читатели очень тепло и позитивно восприняли его повесть «Белка на балконе», рассказы о природе. Писатель поделился с редакцией своими планами: «Пишу роман из записных книжек о литературной жизни Воронежа и страны, а может быть, и шире – о нашей жизни в годы великой советской цивилизации со всеми ее взлетами и падениями... Очень хотелось бы опубликовать это повествование именно в «Подъёме». Ведь я в этом журнале начинал свой литературный путь, работал...»

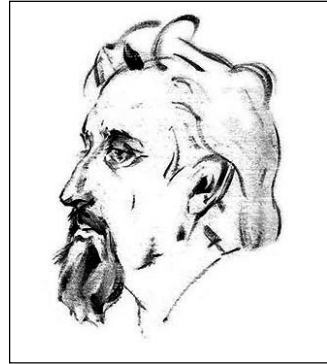
Сегодня мы предлагаем читателям первые главы воспоминаний Эдуарда Пашнева «Когда мы были великими». Автор приурочил свою работу к 90-летию выхода в свет первого номера журнала «Подъём», которое будет отмечаться в январе 2021 года.

Владимир НОВОХАТСКИЙ

В 1957 году Евгений Евтушенко написал стихотворение, посвященное художнику Эрнсту Неизвестному:

БУДЕМ ВЕЛИКИМИ

Требую с грузчика,
 с доктора,
С того, кто мне шьет пальто, —
Все надо делать здорово —
Это неважно что!
Ничто не должно быть посредственно —
От зданий и до галош.
Посредственность неестественна,
Как неестественна ложь.
Сами себе велите
Славу свою добыть.
Стыдно не быть великим.
Каждый им должен быть.



Эдуард Пашнев

Евтушенко писал искренние стихи. Они находили немедленный отклик. Каждая публикация — событие. И мы, начинающие поэты из Воронежа, поняли: «Стыдно не быть великим».

Еще не напечатав ни одного стихотворения, мы стали записывать события своей жизни — для будущего, для истории.

Евтушенко был молодой, как мы. Он напечатал мемуары, «Преждевременная автобиография». Нечто подобное сложилось и у меня из записей в дневнике и записных книжках, сделанных мгновенно, как при вспышке фотоаппаратом. В таких записях с натуры сохраняется нерв времени.

Я сочинял стихи. Я испытывал удивительные минуты вдохновения, когда искал и особенно, когда находил сильные слова для выражения своих чувств. Я был счастлив не от того, что достиг заметных результатов. Я был счастлив, потому что занимался творчеством: писал стихи, как Пушкин, как Маяковский, как Евтушенко. «Стыдно не быть великим» — это воспринималось как девиз.

Время было великое — эпоха Советской цивилизации. Страна была большая. Не только Евгений Евтушенко это понимал. У каждого, кто жил в большой стране, было в самосознании: мы — великие.

Это ощущение прошло вместе с молодостью и распадом великой державы. Остались мгновенные записи в дневниках, блокнотах, на отдельных листочках о провинциальной литературной жизни в городе Воронеже. Вот эти короткие эпизоды я припоминаю, сверяясь со своими записями, которые вел всегда и веду до сих пор, считая, что писатель должен не только писать, но и записывать.

Из записей восторженных лет сложил я эту книгу, ничего не дописывая, воспользовавшись монтажным способом, который применяется в кино. Меня научили этому в Москве на Высших курсах сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. И вот — пригодилось. Это записи о том, как мы жили, как все чаще хотелось сказать словами героя из кинофильма «Белое солнце пустыни»:

— За державу обидно!

Литературное подведение итогов великой эпохи, о конце которой Евгений Евтушенко сказал:

— Я — последний поэт Советского Союза.

КАК НАЧИНАЛАСЬ «РЕСПУБЛИКА СЛОВА»

1

В 19 лет меня призвали в армию и увезли на Дальний Восток. Научили подтягиваться на турнике, научили работать на ключе. После учебной роты дали значок радиста 3-го класса. Этот значок до сих пор лежит у меня в письменном столе.

Уже на точке, в глухой тайге, начались мои дежурства на радиостанции. Иногда мне приходилось дежурить на центральном пункте связи с капитаном Григорьевым из Киева, толстым, ленивым человеком. Говорил он медленно и все время хотел спать. Войска, в которых я служил, назывались ВНОС — воздушное наблюдение и оповещение связи. Капитан принимал по телефону сообщения от наших локаторов, стоящих на сопке, и отмечал на карте летящие вдоль границы американские самолеты. Карта была большая. Она лежала горизонтально на специальных тумбах и занимала всю центральную часть помещения. Капитан отмечал наши и американские самолеты, летящие по границе напротив друг друга. Это называлось — патрулирование.

Я время от времени отвечал на вызовы и передавал короткие сообщения. Такие опасные полеты вдоль извилистой линии, обозначающей нашу границу, случались не каждую ночь. Времени свободного у меня было много, и я начал сочинять стихи. Выглядело это, наверное, забавно. Я сидел в наушниках, постепенно разматывал узкий рулон бумаги и заполнял его стихами. Получалась поэма метра три-четыре длиной. Писалось мне необыкновенно легко, и я сам этому удивлялся.

В одну из ночей, когда все было спокойно и американские самолеты не летали вдоль нашей границы, я дал капитану Григорьеву прочитать зарифмованную историю своей жизни. Я писал про учебу в ремесленном училище, про работу на заводе, про милую моему сердцу девушку Зою, которая в это время училась уже в университете. Капитан Григорьев со своей неторопливой речью и медленными движениями так не подходил к армейской службе. Во всем его облике проглядывало что-то интеллигентное. Он наверняка был из культурной семьи и здесь, на службе в глухой тайге, откровенно скучал. Он начал разворачивать исписанный моим кривым почерком рулон бумаги. И когда закончил этот процесс и все прочитал, буднично проговорил:

— Ты пишешь, как Пушкин.

Лицо у него было усталое, он хотел спать, и мне показалось, он не шутит. Позднее, уже став автором многих книг, я понял, что он имел в виду. Библиотеки у нас на сопке не было. Когда меня туда привезли, я нашел в казарме на подоконнике единственную книжку — роман Пушкина «Евгений Онегин». Никакой другой художественной литературы на сопке не было. Я читал стихи Пушкина, перечитывал стихи Пушкина и, в конце концов, начал шпарить свою рулонную поэму онегинской строфой. Я начитался, я всем своим организмом усвоил ритм, мелодию, готовую форму пушкинского стиха. Он во мне звучал постоянно. Вот почему я так легко заполнял звучащее пространство своими словами. Вторичность своего творчества не осознавал. И слова капитана Григорьева воспринял как похвалу.

Для чтения на сопку привозили газету «Суворовский натиск». Там иногда печатались стихи. Я их читал и пытался понять, чем отличаются стихи в газете от стихов Пушкина. И главное, я не видел разницы между своими стихами, теми, что печатались в газете и теми, что я читал и перечитывал в романе «Евгений Онегин». Я не мог отличить великую поэзию от того, что делал сам, и от поделок армейских поэтов, которые печатались в газете «Суворовский натиск». Страсть к

сочинительству возникла, но вкуса не было. Нужны были годы и годы упорного чтения, чтобы научиться воспринимать культурные явления во всей их простоте и сложности. А пока я неосознанно начал подражать газетным стихам. О любви уже не писал, вдохновлялся трудностями военной службы. Грузовики, которые привозили нам все необходимое на сопку, преодолевали двенадцать небольших речек вброд. А речки в период дождей разливались широко. Шоферы, привозя продукты, письма, газеты, каждый раз совершали подвиг. Я послал в газету «Сувороковский натиск» стихотворение «Шофер». И его неожиданно напечатали.

2

Из армии я вернулся с большим поэтическим зудом в душе. Небольшой томик в синей обложке с романом А.С. Пушкина «Евгений Онегин» увез с собой. После моего отъезда в казарме на Березовом перевале не осталось ни одной книжки. Привез я из армии и большой «Словарь иностранных слов». Жажда самообразования была большая, и не только у меня. Хотелось знать все слова, в том числе иностранные. Под обложкой, на титульном листе, сохранилась надпись карандашом «В числе 3-х». И дата — 1955 год. Эту надпись уже в зрелом возрасте я подновил чернилами, чтобы не пропала. Мы, три солдата срочной службы, в зеленых гимнастерках и в новеньких кирзовых сапогах, готовые к отправке домой, оказались в небольшом городке. Зашли в книжный магазин, и каждый купил такой словарь. И каждый сделал такую надпись на правом уголке титульного листа. Это было что-то вроде обещания заниматься на гражданке самообразованием. Сегодня надпись на уголке в моей книжке воспринимается как библиотечный инвентарный номер.

За время службы в армии я успел напечататься еще раз, но уже в городской газете «Коммунистический путь» (г. Арсеньев). Два столбца, сочиненных мною частушек, занимали половину последней страницы. Наша часть стояла неподалеку в лесу. Я несколько раз бывал в редакции на занятиях в литобъединении. Познакомился даже с живым писателем. Фамилию уже не помню. Книжка его называлась «Синие горы». Этот местный писатель пришел пьяным на встречу с начинающими поэтами. Но все равно было интересно.

На землю родного города я ступил с багажом, где были две публикации и две книжки из будущей библиотеки.

В одном из писем Чехов писал своему брату, что писателю нужна среда, общество таких же, как он сам, профессионалов. Я тогда писем Чехова не читал, но инстинктивно начал искать таких же, как я, начинающих поэтов, прямо на улице. С Шурой Тириченко, учительницей младших классов и поэтессой, мы познакомились в небольшом уличном кафе на проспекте Революции. Она вспоминает:

— Ходил по улицам молодой солдат, знакомился с девушками застенчиво, но в то же время настойчиво. Читал им свои стихи, показывал газеты, потертые на сгибах, где он был напечатан.

Так же на улице я познакомился и с Татьяной Чистяковой. Она сидела на лавочке в Детском парке. Я опустился рядом, но не слишком близко. Достал из широких карманов галифе свои газеты, «потертые на сгибах». Начал ими шуршать. Не помню, с каких слов начался разговор, но через некоторое время мы уже шли рядом по Детскому парку, потом по улицам — гуляли. Татьяна была девушкой высокой, спортивной. Она быстро ходила, говорила грубоватым голосом. Сама она стихов не писала, но некоторых поэтов, которые учились в Воронежском университете, знала.

Дня через два она познакомила меня с Валерием Мартыновым. Меня встретил красивый, широкоплечий парень, грудь колесом. Учился он на геолога, а стихи



В. А. Кораблинов (в центре) с молодыми воронежскими поэтами (слева направо) Р. Харитоновым, О. Шевченко, Э. Пашневым, А. Жигулиным. 1961 г.

писал под Маяковского. Голос у него был громкий, хорошо поставленный. Мы шли по улице Карла Маркса, и Валерий во весь голос читал стихи, подчеркивая отдельные слова взмахом руки. Встречные прохожие сторонились, оказавшись за спиной, долго смотрели вслед. Из того, что читал и говорил Валерий Мартынов, я ничего не понял. Он оглушил меня своим чтением. Позднее я узнал, что эту манеру декламировать стихи под Маяковского он репетировал перед зеркалом, а передо мной, так сказать, уже выступал.

Мы дошли до проспекта Революции и двинулись мимо кинотеатра «Пролетарий», мимо Дома офицеров в сторону улицы Комиссаржевской. Там Валерий остановился, показал мне многоэтажный дом за деревьями, где на третьем этаже в небольших комнатах располагалось в то время Воронежское отделение Союза писателей.

— Путь вверх здесь, — сказал он.

Мы попрощались за руку, и мой новый знакомый, уделивший мне так много времени, величественно удалился. Он был так громоподобен, так ярок в позировании, что совершенно подавил меня своей поэтической энергией. Я даже не достал из кармана галифе свои газеты, «потертые на сгибах»: то ли постеснялся, то ли забыл.

Зайти в дом и постучаться в дверь Союза писателей я в тот день не посмел.

До армии я успел окончить ремесленное училище № 10 при заводе «Электросигнал». Из учебных классов и мастерских мы все переместились в заводские цеха. Я был принят на работу в 39-й литейно-механический, где в самом центре стоял многотонный пресс горячего давления, а к стене жались два ряда трофейных станков, привезенных из Германии. Отсюда я ушел в армию, сюда вернулся, чтобы стать к станку. Специальность моя была фрезеровщик-универсал. Но особого призвания к работе с металлом я не чувствовал. И потому, наверное, как и до армии,

выполнял простейшие операции. Сейчас это были алюминиевые коробочки-лягушки. Я срезал в них торцовой фрезой небольшие бобышки, оставшиеся внутри деталей после заливки и штамповки. Применялись алюминиевые детали в полевых рациях для упаковки пучка проводов. Две коробочки на один пучок. За одну срезанную бобышку платили от трех до пяти копеек. Чтобы заработать деньги на гражданский костюм и ботинки, надо было пропустить через мой станок тысячи таких коробочек. Однообразная работа утомляла. Но я старался увеличивать количество обработанных деталей и не позволял себе ни одного лишнего движения, ни одной паузы. Взял из ящика коробочку — закрепил — опустил с небольшим напряжением фрезу на бобышку — бросил готовую коробочку в другой ящик. Станок мой был завален алюминиевой стружкой. По ночам, а иногда и днем, после третьей смены, я долго не мог заснуть — мелькали перед глазами коробочки. Но все-таки иногда, в ночную смену, наступал момент полного оцепенения, когда надо было остановиться. Тогда я выходил из ворот цеха и через сотню метров входил в ворота, которыми начинался длинный пустой коридор. В этот коридор выходили двери многих цехов. Здесь стояли автоматы с газированной водой. Рядом с автоматами висела в деревянной раме, за стеклом газета «Электросигнал». Однажды я пил воду и поверх стакана увидел в газете столбцы стихов. Я подошел, прочитал. Поинтересовался адресом. Редакция находилась в здании заводоуправления. С понедельника у меня начиналась дневная (первая) смена. И я сразу, в понедельник, отправился во время перерыва в газету. Небольшая комната редакции находилась на третьем этаже рядом с парткомом. Я открыл дверь. В небольшой комнате на пишущей машинкой печатала коротко подстриженная женщина с усталым лицом. За письменным столом сидел большой и веселый парень с перевязанной рукой. Светлые волосы у него произвольно рассыпались на голове. Он их поправил здоровой рукой. Волосы снова рассыпались. Женщина перестала стучать на машинке, смотрела на меня напряженно и, как мне показалось, неприязненно. Парень встретил мое появление улыбкой.

— Здравствуйте, я принес, — сказал я, — может, посмотрите... — И показал женщине и парню тетрадный листочек, исписанный моим неровным почерком.

— Стихи? — со вздохом спросила женщина..

— Да.

Она повернулась к парню:

— Вот Виктор Панкратов посмотрит.

Этот парень, как я потом выяснил, работал слесарем в горячем цехе. Нечаянно обжег руку и сейчас коротал время в редакции, помогая редактировать заметки и консультировать рабочих поэтов. Сам он печатался в этой газете неоднократно и собирался перейти сюда на постоянную работу.

Стихи мои Виктору Панкратову понравились.

— Ничего, — сказал он. — Надо немного поправить.

Мы вышли вместе из редакции. Постояли у большой клумбы, разбитой перед зданием заводоуправления. Теплые дни осени закончились. Белые астры на клумбе слегка заржавели. Здание заводоуправления стояло в окружении деревьев. Кругом лежала опавшая листва, затоптанная и только что слетевшая на асфальтовую дорожку. Мы поговорили о моих стихах. Виктор Панкратов прочел мне свое стихотворение об осени. В отличие от громкоголосого поэта-геолога Виктор Панкратов умел не только говорить, но и слушать. Он был готов к диалогу.

Через несколько дней мы снова встретились. Виктор Панкратов впоследствии вспоминал о нашей второй встрече так: «Из ворот цеха вышел мальчик-фрезеровщик — в галифе и кирзовых сапогах. Мы поговорили, и он некоторое время ходил на руках на травянистом пятачке за складскими сараями...»

А я уже забыл, что любил после армии ходить кверху ногами. Сил было много,

а работа у станка не давала возможности, как следует размяться. Желая обработать как можно больше коробочек, я устроил из своих рук конвейер: взял — срезал бобышку — положил в другой ящик, взял — срезал бобышку — положил в другой ящик... Однообразные движения напрягали одни и те же мышцы. Начали болеть спина и шея.

Складские сараи, о которых вспомнил Виктор Панкратов, находились между деревьями напротив ворот моего 39-го цеха. Во время перерыва я забирался на плоскую крышу. Серое толевое покрытие было усыпано желтой листвой. Я сидел на эти листья, съедал свой бутерброд, а потом лежал на спине и смотрел в небо.

В ночную смену все, конечно, было иначе. Часа в четыре я выходил из ворот цеха, садился на лавочку и, закрыв глаза, минуту-другую наслаждался тишиной, дышал ветерком, который гулял между деревьев по территории. Прохладный ветерок выдувал из меня оглушительный грохот многотонного пресса, который все еще звучал в голове и во всем теле. И происходила странная вещь. Начинала вдруг оглушать тишина. Тысячи воробьев, скрытые в листве деревьев, звонким чириканьем встречали рассвет. И это чириканье становилось невыносимым для слуха. Их дружная переключка казалась слишком громкой в тишине утра. Она превосходила по интенсивности грохот в цеху.

4

Я собирался долго фрезеровать бобышки в алюминиевых коробочках. Это была моя профессия. Я получал неплохую зарплату. Уже успел купить длинное пальто, шляпу и галстук, чтобы всем обликом быть похожим на поэта. Но случай изменил мою жизнь.

Утром, после ночной смены, я ехал в трамвае, увозя в гудящей голове и во всем теле удары многотонного пресса и оглушительное чириканье воробьев. Жил я в то время в центре, на Алексеевской улице, выходящей одним концом на площадь Мясного базара, а другим — к Государственному банку и театру. Вялой походкой невыспавшегося человека я шел мимо здания с колоннами и уже собирался ступить на проезжую часть, чтобы перейти на другую сторону улицы, но остановился. На стене театра, рядом с афишей, висело объявление, написанное грубо, толстой линией, на большом куске картона. Я его машинально прочитал, не сразу осознав, что оно написано для меня: «ТЕАТРУ ДРАМЫ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ СЦЕНЫ И ГРУЗЧИКИ».

Мне надо было идти на другую сторону улицы, чтобы вернуться домой и лечь спать после ночной смены. А я все стоял и читал, пытаюсь понять смысл, заключенный в больших черных буквах. И вдруг ощутил всем своим существом: хочу работать в театре.

В армии я начал писать стихи. В родном городе прямо на улицах искал поэтов. А здесь передо мной открывалась возможность изучать искусство, находясь в самом доме искусства.

Рабочим сценам меня не взяли, объявление висело долго: вакансии были заполнены. Я поступил в театр грузчиком. В трудовой книжке записали полное название: «Грузчик на машине». По штатному расписанию грузчиков значилось двое. Вторым был одноглазый Серафим — мужик умудренный опытом, любитель умеренно выпить и поговорить. На короткое время он стал моим учителем по переноске тяжестей. Непросто было принять на спину ящик с гвоздями весом в восемьдесят килограммов и нести на подгибающихся ногах вниз по ступенькам. Склад инструментов и материалов находился в подвальном помещении. Театру для изготовления декораций требовалось все, что требуется для строительства до-

мов. Поездки за материалами занимали не слишком много времени. Иногда неделями ничего не привозили. Весь свой рабочий день мы с одноглазым Серафимом слонялись за кулисами, предоставленные самим себе.

Серафим спускался в подвал к электрикам, где появлялась бутылочка, вари-лась в котелке картошка на электрической плитке. А я пробирался в затемнен-ный зрительный зал и с балкона второго яруса часами смотрел репетиции. Или сидел в актерской комнате, которая находилась рядом со служебным подъездом. Было интересно слушать разговоры актеров и наблюдать за их отношениями в то время, когда они скучали, ожидая вызова на сцену. Вот молодая актриса Павлова прыгнула на колени к народному артисту Папову. И они долго так сидят, обнима-ясь, любезничая, то ли в шутку, то ли всерьез. Я все видел и слышал. На меня не обращали внимания.

Старинное здание Воронежского театра драмы стояло на проспекте Революции, как на острове. Главная улица обтекала его с двух сторон. С тыла открывались ворота в поделочные цеха, и недалеко от них находилась довольно глубокая забе-тонированная яма для мусора. Сверху яма была прикрыта решеткой. Люк для мусора имелся внутри театра, а выгребать мусор из ямы надо было прямо на ули-цу на глазах у прохожих. Мы были грузчиками на машине: выгребать и вывозить мусор входило в нашу обязанность.

Я спускался в яму, поддевал вилами все эти бумажки, объедки, обрезки из по-делочных цехов и выбрасывал на асфальт. А Серафим уже из этой кучи совковой лопатой подбирал мусор и забрасывал в кузов машины. Здесь и нашел меня Виктор Панкратов. С завода я уворовался внезапно, и он на некоторое время потерял меня из вида. Мы могли бы никогда больше не встретиться. Дружбы между нами никакой не было — так, необязательное знакомство. Но он прочитал мне свои сти-хи, я прочитал ему свои стихи, и это доверие уже как-то нас связывало. Дружбы в поэзии возникают именно так: в начале было слово.

Виктор подошел к самой яме. Я был смущен, но и рад. Мы поговорили, но очень недолго. Мне надо было работать. И он ушел по своим делам. И только в следую-щий раз, когда Виктор меня увидел около театра, мы договорились встретиться уже не на заводе, не около мусорной ямы, а как все нормальные люди — в доме. Он пригласил меня в гости, обещал показать редкую книгу. Жил Виктор в старом доме на улице Кирова. Длинное деревянное строение чудом сохранилось в разру-шенном после войны городе. На второй этаж вела деревянная лестница, скрипу-чая, покосившаяся. Полы в сенях и в комнатах были неровные. Весь дом слегка накренился в одну стороны, и вскоре его сломали. Но в тот день в комнатах было тепло и уютно. Виктор познакомил меня с родителями. Отец, сухощавый, стро-гий, по-домашнему в подтяжках, которые он как-то многозначительно оттягивал большими пальцами рук и отпускал, оттягивал и отпускал. Отец Виктора был большой начальник — председатель исполкома Коминтерновского райсовета. Мать — простая деревенская женщина, очень полная и болезненно рыхлая. Ро-дители к знакомству отнеслись вполне равнодушно. Они занялись своими дела-ми, а мы сели к столу в комнате Виктора. Он положил передо мной толстый том в красновой обложке:

— Велимир Хлебников, — произнес он тоном человека, который гордится зна-комством с редким поэтом. Я полистал книгу, попробовал читать. Меня порази-ло, что Виктору нравятся заумные стихи.

— Ты все это понимаешь?

— Это поэт для поэтов, — объяснил он мне словами из предисловия. — Мая-ковский очень его ценил.

Других книг в доме не было...

В конце зимы пришел ко мне в театр знакомиться Роман Харитонов. Совсем

недавно он освобождился из заключения и с трудом привыкал к свободной жизни, как и я после армии. Мальчиком Роман печатал стихи в газете «Молодой коммунар». Некоторые писатели из Воронежского отделения Союза писателей об этом помнили. Из-за колючей проволоки Роман привез поэму о любви:

Писем нет, их, значит, не писали.
Значит, я забыт тобой пока.
Но твой образ мне напоминали
В белых завитушках облака.

На отпечатанной в типографии афише клуба имени Дзержинского сообщалось о вечере поэзии. Должны были выступить Геннадий Лутков, Григорий Прессман, Павел Касаткин и кто-то еще, уже не помню. Фамилии Романа в афише не было. Но его выпустили на сцену в самом конце вечера. И он читал отрывки из своей поэмы. Всем своим обликом Роман соответствовал образу главного героя, которому любимая девушка не писала в лагерь писем. Он стоял на сцене в свитере грубой вязки с синими поперечными полосами по белому полю. На ногах — сапоги с заправленными в них черными брюками. Он потом долго ходил в этой грубой одежде, как я в своем солдатском обмундировании после армии.

Роман смотрел в зал исподлобья, недоверчиво. В нем неистребимо сильны были принципы лагерной жизни: не верь, не бойся, не проси. Читал он хорошо, с болью, которая чувствовалась в скупых жестах. Поэма понравилась. Ему долго аплодировали. Мы с Виктором были на этом вечере среди зрителей. Мы тоже охотно аплодировали только что освободившемуся цыганистому зеку. Сидел Роман Харитонов за вооруженный грабей. Когда брали банду, отстреливался. И вот, можно сказать, явился с корабля на бал, из-за колючей проволоки на сцену.

Вечер закончился, публика ушла. Известные воронежские поэты стояли тесной группой. Мы с Виктором Панкратовым толкались около. Потом со всеми поэтами, перечисленными в афише, и с Романом Харитоновым, мы вышли на улицу. Приятно было сознавать, что мы тоже причастны, что мы тоже пишем стихи, хотя наши имена на афише пока не печатают и на сцену нас не выпускают.

Мы тогда очень быстро остались с Виктором вдвоем на улице. Поговорить с автором поэмы не удалось. И вот он неожиданно явился ко мне сам. В тот день администратор театра Миндальский, которому грузчики формально не подчинялись, но он тоже был начальством и часто давал нам разные указания. В этот раз он заставил меня колоть лед на тротуаре перед театром. Надо сказать, маленький лысый еврей был хорошим администратором. Зимой, после метелей, он выгонял нас с Серафимом из теплой актерской комнаты на улицу — обметать от налишего снега колонны театра. А сейчас в ожидании близкой весны требовал от меня и Серафима, чтобы мы шли на улицу и очищали тротуар перед театром от зимних наледей. Серафим решительно отказался от этой работы:

— Я — грузчик на машине, — сказал он. — Лед — это работа для солнца. Пусть солнышко работает.

Но я надел свой брезентовый дворницкий плащ и пошел. Мне нравилось это занятие на улице. Я и около своего дома с появлением первых весенних ручейков колот лед, торопил весну.

Работа была нетрудная и даже нравилась мне. Я тюкал тяжелым ржавым ломом наледь на тротуаре. Отколовшиеся куски спихивал на проезжую часть, очищая тротуар до асфальта. Оставшиеся на тротуаре крошки медленно таяли на солнце. Роман Харитонов был в сапогах, как и в тот первый вечер. Он подошел ко мне в распахнутом пальто, из-под которого виднелись поперечные синие полосы на груди.

— Подожди, — сказал он мне, — давай поговорим.

Минут пять я стоял, опираясь на лом, ничего не делая. В «Молодом коммуна-

ре» были напечатаны мои стихи под заголовком «В добрый путь». Напутствие написал мне старейший воронежский поэт Георгий Воловик. Роман похвалил мои стихи. Я сказал несколько слов о его поэме, которая понравилась мне и моему другу Виктору. После этого я опять начал тюкать ломом наледи. Глыбы откалывались легко. Роман ходил рядом со мной. И мы продолжали разговор. Если кусок льда отлетал к нему, он спихивал его сапогом на проезжую часть. По сути дела мы так довольно долго работали вдвоем. Я колол лед, а спихивали мы глыбы и куски на проезжую часть вместе: я — ломом, Роман — сапогами. Он пинал куски льда то левой, то правой ногой, прощаясь грубо, по-мужски, с истаявшей зимой. И здесь вначале было слово (его — стихи, мои — стихи), а потом подружились.

С Олегом Шевченко я познакомился в Союзе писателей, куда пришел на занятие литературного объединения. Домой возвращались вдвоем, и неожиданно выяснилось, что живем мы на одной улице. Тут уж нельзя было не дружить. Но все-таки вначале было слово — Союз писателей, литературное объединение. Очень скоро, меньше, чем за год, образовалась группа молодых поэтов. Мы вместе ходили по городу, вместе выступали на поэтических вечерах, нас вместе печатали в журнале «Подъём» и в газетах. В отличие от поэтов, которые учились в Воронежском университете, нашу группу стали называть «Рабочие поэты». Виктор Панкратов работал на заводе «Электросигнал». Олег Шевченко сразу после школы поступил на завод имени Ленина стропальщиком. Роман Харитонов трудился в кочегарке дома на Плехановской улице. Мы там иногда собирались во время его ночных дежурств. Я возил грузы на машине, колол лед, чистил мусорную яму. Но все-таки у меня было ощущение, что я не просто работаю, а служу в театре. Я имел возможность присутствовать на репетициях, я смотрел премьеры как человек, который видел все этапы создания спектакля. В этот период я, наверное, под влиянием театра стал немного актером, начал носить костюм с галстуком. По улице ходил в длинном пальто и коричневой фетровой шляпе с большими полями. В этом виде я начал встречаться с милой девушкой, которая жила на соседней улице. Я приходил к ее дому или мы встречались около городских часов перед кинотеатром «Пролетарий». Она была вся такая чистенькая, аккуратная. Мне приходилось изображать из себя культурного индивида, шляпного интеллигента. Однажды моя симпатичная девушка проходила мимо театра и увидела меня в мусорной яме в моей настоящей одежде — в брезентовом плаще. Больше мы с ней не встречались.

Теперь второй проезд, там, где была мусорная яма, и кусок тротуара загородили с двух сторон заборами. И эта часть стала закрытым двором театра. Каждый раз, проходя мимо, я вспоминаю свою работу в яме. Она была довольно глубокой. И приходилось в ней торчать долго, чтобы вычистить все до бетонного дна. А мимо шли прохожие в парк, в кинотеатр. И среди них Виктор Панкратов и моя симпатичная девушка.

Все мое детство прошло на берегу реки. Наш дом по Яхт-клубскому переулку стоял крайним, ближе всех к реке. Впрочем, наш дом был не наш. В январе 1943 года, после освобождения Воронежа от немцев, мама пешком пришла в город, когда еще не все дома на улице Берег реки успели разминировать. По замерзшему льду, занесенному глубоким снегом, она перешла реку, стараясь ступать след в след за тем человеком, который прошел здесь раньше. Мы с сестрой и бабушка находились в деревне Никоновке у родственников. Деревня эта во время оккупации города находилась в 25-ти километрах от линии фронта. Мама поднялась по крутой лестнице в верхнюю часть города. На месте большого бабушкино-

го дома на улице 20-летия Октября была засыпанная снегом воронка от бомбы. Мама вернулась на берег реки. В Яхт-клубском переулке нашла пустой дом на двух хозяев. В левой половине дома зияла пробитая крыша. Огромный обломок в две сотни кирпичей, отколовшийся от трехэтажного здания электростанции, проломил покрытые железом скаты и потолок, и лежал посередине комнаты. Мама заняла вторую половину дома, где все было цело. Здесь мы потом и жили. От соседей узнали, что хозяева нашей половины дома погибли во время бомбежки. Но остался мальчик. Он окончил суворовское училище, стал офицером. Однажды этот молодой офицер приехал и предъявил права на свой дом. По законам того времени выселить нас было нельзя. Тогда хозяин дома придумал небольшую военную хитрость. Он выхлопотал право сделать в доме ремонт в летнее время. Маму, мою сестру и бабушку временно выселили в сарай. Я находился в это время далеко — в глухой тайге на Березовом перевале. Наступила осень. Офицер отремонтировал дом и продал его. Мама, сестра и бабушка остались в сарае. Выпал снег, а мои родные, как коровы или овцы, все еще ютились в сарае. Они спали, укутываясь всеми одеялами. Несколько месяцев не снимали верхнюю одежду. Ужасающие подробности о холодной жизни я узнал из письма сестры. Вот тогда я впервые узнал, что это такое, когда болит душа. И что я мог сделать? Чем я им мог помочь? Я обратился с письмом к министру обороны. Ответ пришел не очень быстро, но, к счастью, был положительный. Мне сообщили, что моим родным выделили новое жилье. Я смог, наконец, вздохнуть полной грудью. Несколько дней я просто ходил по тайге и дышал, освобождаясь от боли в душе. Молодого офицера, кажется, уволили из армии, хотя viņа его в нашем бедственном положении никакой не было. Он отремонтировал и продал свой дом.

После переезда с Берега реки мама, сестра и бабушка получили жилье в центре города. Военкоматом им была выделена комната в длинном флигеле с тремя отдельными входами и тремя хозяевами. Виктор Панкратов оставил небольшие записки, в которых есть несколько строк о доме, куда я вернулся после армии: «Мы жили очень близко, почти рядышком. Я — пошкарнее, в самом центре разрушенного войной города. Пашнев — в обшарпанном, с проржавевшей и покосившейся крышей, домишке на Алексеевской улице. Рядом — крошечный огородец...»

Действительно, новое жилье находилось близко от главной улицы, рядом с банком, рядом с театром. Несмотря на такое расположение, на стоящие вокруг многоэтажные дома, мы жили как в деревне. За домом был огород. Бабушка посадила там картошку, огурцы, помидоры. По краям огорода росла лебеда, лопухи, репейники. Прилетали стайки щеглов, звонко перекликаясь, падали на кусты репейника, кормились, оживленно мелькая среди красных головок репейника своими красными головками.

Нашей семье из четырех человек в одной комнате было тесно. Все пространство занимали кровати. Между ними — небольшой стол и несколько табуретов. Но летом можно было жить и в сенях, вернее, в дощатом сарайчике, пристроенном к дому прежним владельцем. Я перенес туда свою кровать, ложился на нее и начинал размышлять о жизни. В сарайчике, перед входом в комнату, было сумрачно, но в солнечные дни сквозь щели между досками пробивались лучи солнца, и это создавало таинственную праздничную атмосферу.

Виктор Панкратов приходил часто. Вот как он сам описывает свои визиты ко мне вместе с Романом или Олегом: «На пружинистом деревянном порожке нас встречала худолыкая молчаливая мама Эдика. Это была женщина с глубокими добрыми глазами и неизменно дымящейся в жилистой руке папиросой «Беломор». Я чувствовал себя почти родным и счастливым ее сыном. А еще была его неунывающая улыбчивая бабушка с постоянно округлыми ямочками щек...»

Виктор был большой и сильный. В сарайчике от его присутствия становилось сразу тесно. Чтобы не занимать собой так много места, он ложился на мою кровать и начинал петь песни.

Там, вдали за рекой,
Догорали огни.
В небе ясном заря догорала.
Сотни юных бойцов
Из буденовских войск
На рассвете в поля поскакала.

Он пел, очарованный музыкой и словами этой революционной песни. Моя мама смотрела на него с улыбкой. Ей нравилось, что поет он так самозабвенно, глядя в потолок, никого не замечая, не чувствуя никакого стеснения от того, что находится в гостях. Песен Виктор знал много и мог петь их часами, не отвлекаясь на разговоры. Приходилось терпеть эту самодеятельность, пока он не насладится песенным словом. А потом начинались разговоры с мамой, с бабушкой. Я устранился. Сидел в сторонке и ждал, когда Виктор перестанет их смешить, перестанет задавать им свои вопросы. Мне казалось, что его внимание к домашним разговорам надуманное. Не могли его интересовать цены на базаре, о которых говорила бабушка. Но теперь, просматривая его записки и планы, я понял, что ошибался. На компьютерном диске есть план статьи о женщинах. Перечисляя тех, о ком он собирался писать, Виктор назвал и моих родных женщин. Пометил для себя коротко, а во мне каждое слово отозвалось эхом: «Вспоминаю маму и бабушку Эдика Пашнева. Простые женщины».

6

Рабочие поэты продолжали работать на заводах и в кочегарке. Немного позднее Роман Харитонов поступил на завод, в литейный цех. Я возил грузы на машине и подставлял под них спину. В прессе и на собраниях писателей нас стали противопоставлять университетским поэтам по принципу: студенты, пришедшие в университет со школьной скамьи, не знают жизни, а мы знаем, поскольку жизнь — это, когда ходишь на завод в третью смену. Почти все отрицательные персонажи того времени были аспирантами и доцентами. Почти все положительные — рабочими. Романы, повести и пьесы на производственную тему, как правило, были скучны и бездарны, но высоко ценились. Идеологи от культуры нас хвалили за то, что прокладываем свою жизнь через заводскую проходную, как в песне: «Ты заводскую проходную, что в люди вывела меня». Кинофильм «Весна на Заречной улице». Наверное, меня определенным образом настроили. Мои первые стихи после армии были о заводе, о третьей смене:

Он по утрам вставал не каждый день,
Он часто утром приходил с работы.

Нас хвалили за то, что мы строим новую жизнь руками, подставляем спины под тяжести, а мы мечтали учиться. А пока занимались самообразованием. Прежде всего, мы заново учились читать. Наступило время оттепели. Газета «Правда» вдруг напечатала стихи о любви Степана Щипачева. В московском журнале Роберт Рождественский опубликовал поэму о любви. Одна за другой стали выходить книги расстрелянных авторов. Мы ходили по книжным магазинам, выискивая эти новые издания. Все четверо купили однотомник Бабеля с предисловием Эренбурга. Хрущевская оттепель возвращала обществу запрещенных авторов. Мы стали составлять из них свои библиотеки.

В 1956 году вышел первый «День поэзии», уникальная книга альбомного формата, которую можно было читать только сидя за столом. Раскрытая, она занима-

ла половину стола. Много стихов, много рисунков, фотографий. Мы были первыми покупателями. На уголке титульного листа, на моем экземпляре, написано: «В числе 4-х». Клятва о самообразовании, данная в армии, продолжала действовать.

Однажды в центральном книжном магазине мы обнаружили на полке несколько экземпляров «Сборника стихов» 1943 года издания. Книжки там стояли ценные, и к ним был свободный доступ. «Сборник стихов» почему-то не имел автора. Мы полистали странную книжку. Оказалось, это «Сборник стихов» не одного автора, а «Сборник стихов» самых известных советских поэтов за период с 1917-го по 1942 год. Это было что-то вроде антологии. Помню, нас заинтересовала поэма Б. Пастернака о 1905 годе. Из-за этой поэмы мы, трое (Виктор Панкратов, Олег Шевченко и я) и купили все три цененных экземпляра. И только сорок лет спустя, я узнал, что мы тогда купили чрезвычайно редкую книгу. «Советский писатель» решил издать во время войны антологию советской поэзии. В готовом виде сигнальный экземпляр попал на стол к Сталину. Отец и учитель всех народов внимательно прочитал антологию. Многие стихи вычеркнул, в том числе те, которые были посвящены лично ему. Выбросил он из антологии и сказку К. Чуковского «Одолеем Бармалея». И написал, что никакая это не антология, а «Сборник стихов». Так его почерком (рукописно) название книжки и было воспроизведено на обложке.

Переплет антологии был желтый. Сталину не понравился этот цвет. «Сборник стихов» вышел в темно-вишневом переплете. В таком же переплете выходили тома собрания сочинений И.В. Сталина.

Поскольку вождь всех времен и народов отредактировал «Сборник стихов», фамилию редактора антологии нельзя было поставить. Книжка вышла без редактора. Сталин поменял цвет обложки, исчезла и фамилия художника. И так, впервые издательство выпустило книжку без редактора, без художника. Все сделал Сталин, за все отвечал он один. Отец моей жены, Валерий Яковлевич Кирпотин, в конце тридцатых годов работал в ЦК, заведовал сектором художественной литературы. Потом занимал различные руководящие должности в Союзе писателей. В его библиотеке и сохранился единственный экземпляр антологии в желтой обложке. В «Литературной газете» (19 ноября 1997 г.) была опубликована моя статья «Сталин-цензор».

Я догадался сравнить желтую антологию и вишневый «Сборник стихов». Это и моя жизнь, ибо биография не только те или иные поступки, но и то, что мы читаем, о чем думаем. Одним словом, читатель, если захочет, найдет статью «Сталин-цензор» в конце книги.

Но я забежал немного в девяностые годы. А у нас пока шестидесятые — «Оттепель». Мы собирали в этот период одинаковые библиотеки. На полку ставились книги, купленные «В числе 3-х», «В числе 4-х». Но, наверное, можно было бы написать: «В числе многих». По книжным магазинам ходили толпы людей, которые мгновенно сметали с прилавков новинки — весь тираж. Мы были среди тех, кто почувствовал, что из книжных магазинов дует ветер «Оттепели».

Одновременно мы учились писать. Все четверо посещали литературное объединение при Союзе писателей. Но, главное, мы встречались друг с другом. Владимир Гордейчев, руководитель поэтического семинара при Союзе писателей, завел журнал посещения. Назначался дежурный. Он отмечал пришедших. Во время обсуждения стихов того или иного автора, фиксировал в коротких записях мнения выступающих. Похожую тетрадь мы, четверо, завели у себя дома. Я, как лорд-

канцлер, всегда носил ее с собой. Вот пришли мы с Виктором Панкратовым в гости к Олегу Шевченко. А его нет дома. Оставили на двери записку:

Приходили к Олегу
Проведать коллегу.

Мы были очень довольны, что сумели подобрать точную рифму к имени нашего друга. Тут же я раскрыл тетрадь и внес туда текст записки с подписями и датой. Это было время интенсивной литературной учебы. Мы неумоимо рифмовали, неумоимо играли словами. Записывали в нашу тетрадь шутки в прозе, стихотворные экспромты, эпиграммы. До армии я успел окончить пять классов общеобразовательной школы и ремесленное училище. Я делал много ошибок в написании слов. Виктор и Олег, как более грамотные, сочинили на меня эпиграмму и записали в тетрадь, которую я сам же перед ними и раскрыл:

Нам Эдика немного жаль.
Путь на Парнас и крут, и зыбок.
Издать он может лишь словарь
Орфографических ошибок.

Нашу тетрадь можно было бы назвать «Альманахом», но мы постарались выкрутить из этого слова иронический смысл. На титульном листе было написано: «Аль-Монах». Виктор Панкратов в своих записках не забыл отметить нашу общую тетрадь: «Вспоминаются пятидесятые годы. Тогда мы — четыре молодых человека, только пробующих свои силы в поэзии, создали «Республику слова» — собственный мастер-класс. Мы писали стихи на заданную тему, выпускали рукописный журнал эпиграмм и пародий «Аль-Монах».

До «Республики слова» было еще далеко. Нашу группу называли «Рабочие поэты», пока мы с Харитоновым, а затем и Олег Шевченко, не поступили в Литературный институт. Но мы, действительно, в тот период создали свой «мастер-класс».

8

Я продолжал ходить на работу в театр. И у себя дома становился все более театральным человеком. В кабинет-сарая появился большой письменный стол. Я принес его из театра. Списанный из костюмного спектакля, огромный, двухтумбовый мебельный монстр с витыми, толстыми ножками внешне выглядел великолепно. Образец богатой жизни из эпохи «Луи Каторз» (французский король Людовик XIV). Ящики в тумбах были грубо сколочены из толстых сосновых досок, выдвигались с трудом, но все же выдвигались, и в них можно было хранить рукописи и книги.

Идея обставить театральную мебелью мой кабинет-сарай принадлежала моему напарнику, такому же, как я грузчику, одноглазому Серафиму. Мебель идущих спектаклей хранилась в карманах за сценой. А вся списанная мебель вместе с декорациями отвозилась на склад, расположенный неподалеку от театра драмы на площади Ленина в недостроенном здании музыкального театра. Мощная кирпичная коробка была загромождена ненужным театральным хламом, брошенным как попало. Здесь же хранились доски для поделочных цехов, гастрольные сумки для костюмов. Мы, два грузчика на машине, часто приезжали сюда, чтобы погрузить и отвезти для театральных цехов банки с красками, трубы, доски — все, что требовалось при изготовлении декораций для нового спектакля. И однажды обнаружили на первом этаже, между хаотично нагроможденными старыми декорациями уютно обставленную комнату. Там были стены из ставок с наклеенными на них настоящими обоями. У этих стен стояли софа и диван. В центре — два сдви-

новых стола, кресла. На одной из стен-ставок висел даже портрет лошади в раме, написанный маслом для спектакля «Филумена Мартурано». А на столе стояли пустые бутылки, пустые стаканы, тарелки с остатками еды. И возвышался декорационный канделябр с тремя оплывшими свечами, которые горели совсем недавно, может быть, предыдущей ночью. Неподалеку, через дорогу, вернее, через улицу, находился самый большой в Воронеже базар — Щепной. Нетрудно было догадаться: здесь находили себе и стол, и кров лихие люди с базара.

Склад мы запирали на большой амбарный замок. Окна недостроенного здания были заколочены досками. Но ушлые дяди и тети из торговых рядов, с шумных площадей удачи, устроили себе лаз, оторвав несколько досок на окне. Они здесь уютно проводили время, отмечали за столом сделки, занимались любовью на диване. Это был театр жизни в декорациях искусства, базарный андеграунд.

Мы долго сидели с Серафимом за столом с остатками чужой трапезы. Мой напарник подошел к дивану, поднял одеяло на диване, под ним лежала вязаная кофточка, сбоку стояли стоптанные женские туфли.

— А ты возьми отсюда диван и стол для своего сарая, — сказал Серафим.

Разглядывая чужое тайное жилище, мы оба ощутили какую-то непонятную магию этого пыльного нищего уюта. Мы не стали разрушать комнату актеров жизни, которые при свете свечей играли сами для себя загадочную пьесу неизвестного нам содержания. То, что они окружили себя красивыми декорациями, повесили портрет лошади, починив раму, говорило о том, что их базарные души не чужды искусству, хотят красоты, а не воровства и обмана.

Среди поломанных декораций и втиснутых друг в друга разрозненных мебельных гарнитуров разных эпох и стран мы нашли еще один стол, который и погрузили на машину поверх пиломатериалов для мебельного цеха. После разгрузки машины, улучив свободную минуту, мы с Серафимом потащили стол в мой кабинет-сарай пешком. Это было совсем недалеко. Надо было просто перейти улицу от грузовых ворот театра к зданию банка и по тротуару на противоположной стороне до поворота на Алексеевскую улицу. Мы шли со столом по оживленному городу и чувствовали, что не просто несем тяжесть как грузчики, а совершаем некий, не до конца понятный нам самим обряд. Позднее я понял, это был такой же обряд, какой совершали на складе в недостроенном здании оперного театра люди с базара, окружая себя театральными декорациями.

Мы шагали по асфальту, который был продолжением театра, продолжением моего дома. Все было очень близко, очень удобно. Довольно тяжелый стол мы, молодые театральные грузчики, тащили без труда. Мы шли и разговаривали, как обычно, на философские темы. Мы работали грузчиками в театре не потому, что нам хорошо платили. Мы работали в театре, потому что могли здесь философствовать. Атмосфера искусства, которая была на сцене и за кулисами, возбуждала в нас эти разговоры. Потом в моем сарае появилось кресло, вытасченное на складе из театрального хлама, почти целое, пришлось вбить всего несколько гвоздей. На стену я повесил большую географическую карту двух полушарий. Иногда от нечего делать, разглядывал материки, острова, читал названия. Однажды в Антарктиде поразила мое воображение «Земля Королевы Мод». Я уже был очарован красивыми словами, искал их везде, с удовольствием повторял. Я лег на диван и, глядя в потолок, начал сочинять стихи. Первая строчка получилась сразу:

Есть в Антарктиде Земля Королевы Мод...

В мой кабинет-сарай, находящийся в центре города, стали захаживать писатели. Заглянул как-то Юрий Третьяков, очень нежной души человек и алкоголик.

Иногда приходил, уже известный в то время поэт, Владимир Гордейчев. Он сидел в мое кресло, спрашивал:

— Что читаешь?

Брал книжки, лежащие на столе, листал их.

Мне удалось купить одну из первых книг Евгения Евтушенко «Шоссе энтузиастов». Гордейчев увидел сборник, взял его в руки, долго разглядывал страницы, потом сказал мрачно:

— Подари!

Что-то в его голосе и в том, как он держал книжку, было такое, что я не посмел ему отказать.

— Бери! — сказал я.

В то время мое очарование словом, было поверхностным. Душа жаждала красоты, но довольствовалась и красотой. Я не вчитался в стихи Евгения Евтушенко. Мне не жалко было расставаться с его книжкой. А Гордейчев учился с ним на одном курсе в Литературном институте, он знал, что это книжка большого поэта. Он хотел ее иметь у себя, хотел еще раз вчитаться в известные ему еще со студенческих лет стихи, чтобы понять, как становятся большими поэтами.

Со следующего издания (это был, кажется, сборник «Яблоко») я и сам стал собирать книжки Евгения Евтушенко и уже никому их не дарил.

Юрий Третьяков, Владимир Гордейчев были гостями нашего андеграунда. Нас изредка печатали и даже объединили в группу, но было пока неясно: есть мы или нас нет. Третьякова и Гордейчева широко печатали, о них писали, они существовали на поверхности и пока только из любопытства спускались к нам, чтобы по сидеть в сарае.

А потом приходили друзья: Олег Шевченко, Виктор Панкратов, Роман Харитонов. Могли прийти и ночью. Мы приходили друг к другу в любое время, не предупреждая, как члены одной семьи, живущие в разных домах.

На улице загорались фонари. Мы шли на проспект Революции на охоту за метафорами. Блокноты, которые мы брали с собой, назывались у нас «Охотничьи блокноты». Мы записывали в них сравнения, которые, придумывали, глядя на дома, деревья, прохожих. Если кто-то из нас произносил удачную фразу, двое других доставали блокноты и записывали.

Главная улица, по которой мы бродили иногда до поздней ночи, называлась, как и улица Горького в Москве, «Бродвеем». Другая сторона этой улицы от театра драмы и до Петровского сквера была менее оживленной и называлась «Дунькенштрассе». Там встречались нянечки, приехавшие из деревни, с солдатами Воронежского гарнизона. Они сидели на скамейках у памятника Петру Первому, ожидая знакомства. А те, которые уже познакомились, прохаживались редкими парами от дома к дому, исчезая в темноте переулков, целуясь в тени деревьев. А мы ходили по оживленной стороне улицы плечом к плечу, занимая всю ширину тротуара, и никому не собирались уступать дорогу. Нам уступали дорогу, на нас оглядывались. А мы шли, раздвигая встречный поток. Так ходят порой парни, жаждущие дать кому-нибудь в морду. Но мы были другие, мы смотрели и записывали. Учились видеть.

МОЙ НЕМЕЦ

В 1957 году в Воронеже проходило совещание молодых писателей. Из Москвы приехали в качестве руководителей семинаров В. Солоухин, Н. Старшинов, Ю. Друнина.

Красивая талантливая женщина разбирала по строчкам наши стихи. На фронте она была медсестрой. После войны стала широко известна как фронтовой поэт. Ее пронзительные трагические строки потрясали:

Я только раз видела рукопашный.
Раз наяву и тысячу во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

На заключительном заседании я прочитал два стихотворения «Икона» и «Каменотес».

КАМЕНОТЕС

Здесь труд и смерть неразделимо слиты.
Здесь злобный ветер от тоски охрип.
Здесь высекали надгробные плиты
Из каменных глыб.

Здесь никогда не вытирали слез,
Они текли, текли не иссякая.
И долго отдыхал каменотес,
Очередную надпись высекая.

Лоб у него морщинами изрезанный:
Жизнь ничего отметить не забыла.
А люди думали, что он железный,
Почти такой же, как его рубила.

Они не знали никого суровой
Неразговорчивого старика.
Они не знали, что на полуслове
Повиснуть может и его рука.

И умер он — ничем не знаменитый.
И похоронен неизвестно где —
Чужого горя исписавший плиты
И радости не ведавший в труде.

ИКОНА

Горит в алтаре свеча одинокая.
Церковь тонет в желтых бликах огня.
И хитро женщина черноокая
Из божицы глядит на меня.

До половины обнаженные груди,
В изломе бровей много чувства и лени.
Сотни лет ей молились люди,
Как перед Богом становясь на колени.

Верстами вытаптывали подорожник,
Дабы поклониться гордой святыне.
И не знал никто, что крепостной художник
Рисовал ее с распутой графини.

Московским поэтам понравилось мои стихи. В газете «Молодой коммунар» (25 декабря 1957 г.) от их имени сообщалось:

«Нам просто повезло, что мы услышали стихи Э. Пашнева». Похвалили и Олега Шевченко. Знаменитые поэты из столицы и сами были еще достаточно молоды, они активно поддержали нас, молодых, совсем зеленых, Олег Шевченко, например, еще ходил в школу.

Меня Юлия Друнина расспросила, где прошло мое детство во время войны? Мы вместе вышли на улицу, походили немножко по городу, поговорили о Москве, о том, что мне надо поступить в Литературный институт.

Может быть, темы моих стихотворений, мысли об иконах и надгробиях, мысли о Боге настроили ее на разговор о своей судьбе. Она вспомнила один эпизод из фронтовой биографии. Ей нужно было принести раненым воды. Она пошла с дву-

мя флягами к ручью. Но за ручьем, среди деревьев притаился немецкий снайпер. Он мог ее убить, но решил поиздеваться. Снайпер двумя выстрелами выбил у нее из рук обе фляги. В землянке в вещмешке у Юлии Друниной лежал сверток — белое платье. Юлия Друнина вернулась в землянку, надела белое платье и пошла к ручью, не таясь, не скрываясь, как невеста под венец. Она набрала воды и вернулась к раненым. Немецкий снайпер не выстрелил в нее. Позднее она записала эту историю и опубликовала в большой книге прозы, где назвала неизвестного снайпера «Мой немец».

Долгое время после 1957 года и позднее, когда прочитал книгу Юлии Друниной «Я родом из детства», удивлялся: почему она не напишет стихи о том, как во время войны надела белое платье невесты, чтобы принести раненым воду. Мне захотелось написать рецензию, чтобы подчеркнуть этот удивительный эпизод. Рецензия была опубликована под заглавием «Идущая с приказом не стрелять» («Молодой коммунар», 10 апреля 1975 г.). Сожаление, что из этого уникального факта она не сделала стихи, песню, накапливалось с годами во мне, как не востребованная энергия. И когда Юлия Друнина умерла в 1991 году, я понял: не написала и уже не напишет. И тут же военный эпизод из жизни храброй сестры милосердия стал складываться в строки песни без музыки.

МОЙ НЕМЕЦ

(Баллада)

Памяти Юлии Друниной

Горел и плавился металл,
Устали люди и броня.
А он, проклятый, не устал,
А он все целился в меня —
Мой немец!

Я в белом платье стала в строй,
Невеста, но — ничья.
Была я раненым — сестрой,
Он — снайпер у ручья —
Мой немец!

И я ползла, ложась в следы,
Таясь, как бурундук.
Но обе фляги для воды
Он выбил — у меня из рук —
Мой немец!

Землянки скудное жилье:
Достала сверток из тряпья,
И платье белое свое
Надела только для тебя, —
Мой немец!

Не знаю, кто ты: сын, отец?
Ты скрыт, я — на виду.
И в платье, словно под венец,
С ведром к ручью иду, —
Мой немец!

Ты в ослепленности своей
Навел прицела крест.
Жену убей! И мать убей!
Ты, убивающий невест, —
Мой немец!

Склонялась до земли ветла,
Качался лист, звеня.

Я воду раненым несла,
И он не выстрелил в меня —
Мой немец!

С тех пор бывает лишь во сне
Страшней, чем наяву.
С тех пор не враг он больше мне,
С тех пор его я и зову —
Мой немец!

Где он теперь, в каком краю,
Дожил ли до такого дня,
Чтоб песню перенять мою,
И в песне той узнать меня —
Мой немец!

Юлии Друниной понравилось мое стихотворение «Икона». После семинара она подарила мне свою книжку с автографом. На титульном листе было написано: «Надеюсь, что у Э. Пашнева много будет таких “Икон”».

Много не было. Эта — вторая икона: песня-портрет Юлии Друниной. Говорю не о качестве своих стихов, говорю о подвиге медсестры, поэта, святой женщины.

Просматривая в интернете всякие поэтические конкурсы, случайно увидел: есть песенный конкурс «На благо мира». Послал туда стихи «Мой немец». Быстро получил ответ. Модератор портала Премии «На благо мира» доброжелательно откликнулся: «Добрый день, уважаемый Эдуард! К сожалению, мы не сможем вам помочь с созданием песни. Но будем рады ее принять на конкурс, если вы успеете сделать запись в этом году до завершения приема работ. Стоит отметить, что текст полностью соответствует нашим целям и ценностям. Он, действительно, замечательный. С уважением и теплом, Сергеев Никита, модератор портала Премий «На благо мира».

Автору стихов трудно искать композиторов. Насколько я знаю: песни лучше всего получаются, когда композитор прочитал стихи, и в его звучащей душе возникла музыка.

ПАСТЕРНАК И ЕВТУШЕНКО

ПЕРЕДЕЛКИНО — ПОХОРОНЫ ПОЭТА

«Нас мало. Нас может быть трое», — написал Борис Пастернак о поэтах своего поколения. Двоих можно назвать сразу: это сам Борис Леонидович и Маяковский. Третий поэт — Сергей Есенин, может быть, Осип Мандельштам. Анна Ахматова не согласна была с цифрой три. Она писала: «Нас четверо», имея в виду себя, Пастернака, Маяковского и Мандельштама. Борис Леонидович дружил с Анной Ахматовой, но в своем списке великих ее не числил.

С Есениным в молодые годы Пастернак подрался; за Мандельштама не смог заступиться в разговоре со Сталиным. Это мучило его потом всю жизнь.

Маяковский застрелился, Есенин повесился, Мандельштам погиб в сталинском лагере. Пастернак получил Нобелевскую премию. Эта премия его убила. В газетах, на собраниях на поэта обрушился шквал критики с оскорблениями. Требовали, чтобы отказался от премии, сочинили за него письмо в газету. И, в конечном счете, исключили из Союза писателей.

2 июня 1960 года «Литературная газета» на последней странице, в нижнем уголке, мелким шрифтом поместила сообщение: «**Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича...**»...

Назвали писателем. Но имя этих писателей некролог не подписал. Поэта исключили из творческой организации, оставили членом Литфонда, хотя в организации, созданной для помощи писателям, никакой помощи он попросить уже не мог. Так уходил (мелкими буквами по широкому газетному полю) последний поэт большой четверки. Но уходил не сам, его еще нужно было проводить в последний путь. Объявления о панихиде в газете не было.

Листочки с объявлениями стали появляться у касс на Киевском вокзале утром в день похорон:

«Гражданская панихида состоится сегодня в 15 часов ст. Переделкино». Их срывали. Кто-то эти листочки (можно сказать, листовки) прикреплял снова.

Я учился в Литературном институте, сдавал весеннюю сессию. По недостатку образования не понимал — кто такой Пастернак. Ценил Маяковского, огромного, громыхающего рифмами. С увлечением разглядывал в книжках фотографии поэта во весь рост, с бантом, с морковкой в нагрудном кармане.

Во время службы в армии впервые прочитал Есенина. Он меня ошеломил нежной красотой простых слов.

Мандельштама не читал. В 1959–60 гг. его еще не издавали. Или лучше сказать, уже не издавали.

Про Пастернака мне было известно из газет: написал какой-то роман про доктора, издал без разрешения за границей. Прочесть я его не мог, роман был запрещен в Советском Союзе. Стихи Пастернака, конечно, читал, но не очень внимательно. Можно сказать, при первом чтении знакомство не состоялось. Отпугивала сложность метафор. Попробуйте с ходу прочесть и понять, например, такие стихи:

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

.....
Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеча по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

Корней Чуковский привел эти строки в предисловии к однотомнику, вышедшему в издательстве «Художественная литература» в 1966 году, сопроводив комментарием: «Поэт хорошо знал, о чем у него идет речь, какие подлинные факты и чувства воспроизводит он в стихах. Но большинству читателей они казались «бессмысленными», «сумбурными», «косноязычными», «дикими». Отметим, автор предисловия пишет: так воспринимало стихи Пастернака «большинство читателей». Лукавый критик умел похвалить так, что и ругать не надо. Вероятно, и сам Корней Иванович воспринимал насыщенные метафорами «бессмысленные» стихи вместе с «большинством читателей».

И чтобы убедительнее было, сослался на авторитет Максима Горького, который тоже не понимал смысла «диких» метафор. В том же предисловии Чуковский привел несколько слов из письма классика пролетарской литературы, адресованных Пастернаку:

«Дорогой мой Борис Леонидович!

Не скрою от вас: до этой книги (поэма «Девятьсот пятый год». — Э.П.) я всегда читал стихи ваши с некоторым напряжением, ибо — слишком, чрезмерно их насыщенность образностью и не всегда образы эти ясны для меня».

Ничего этого я тогда не знал, просто не понимал таких стихов.

Кстати сказать, жена поэта, Зинаида Николаевна, тоже считала стихи мужа непонятными. Сам Пастернак знал, что пишет гениально, и потому многим стихи непонятны.

В романе «Доктор Живаго» устами второстепенного персонажа он в этом признается: «Поздней ночью почти перед уходом гостей явилась Шура Шлезингер: — Ну, здравствуй! Молодец, молодец. Читала. Ничего не понимаю, но гениально».

Сам был я, скорее всего, не поехал на похороны. В 11 часов утра я еще спал. В дверь моей комнаты настойчиво постучали. Это была литовская еврейка с красивым библейским именем Суламифь. Она училась на четвертом курсе, на переводческом отделении. Я был первокурсником. Мы познакомились случайно в библиотеке. И она стала меня опекать. Пышногрудая энергичная девушка с толстыми, как у негритянки, губами, мне очень нравилась. И я послушно ходил с ней: на американскую выставку — любоваться экспонатами буржуазной культуры, в зал Чайковского — слушать Мориса Равеля, в музей имени А. Пушкина — смотреть импрессионистов.

— Ты еще спишь, — удивилась Суламифь. — Быстро собирайся.

— Я поздно лег. Работал, потом читал.

— Поедем в Переделкино.

— Зачем?

— Ты что? Сегодня похороны Бориса Леонидовича.

На Киевском вокзале, на перроне, много было знакомых лиц. Люди здоровались друг с другом. Московская интеллигенция ехала в Переделкино. Электричка отошла от перрона переполненной. Мы с Суламифь стояли в тамбуре, притиснутые друг к другу. И это было главным моим ощущением, а не то, что я ехал на похороны.

День с утра выдался ясный июньский. В узких окнах дверей мелькали солнечные блики. На остановках в открытые двери врвался ветер. Я улыбался, заглядывая в глаза Суламифь. Она смотрела сосредоточенно, строго, но не отстранялась. Поезд рывком остановился напротив низких строений станции Переделкино. Толпа в вагоне качнулась. Выталкивая друг друга, мы выпрыгивали на перрон лесного поселка. Из вагонов вывалилась огромная толпа разноцветных пиджаков и кофточек. На дороге образовалась длинная непрерывная цепочка людей. Шли по одному и парами, иногда целыми группами. Шли молча, сосредоточенно, как будто делали трудную работу. Вдоль широкой дороги в гору — сосны; тихо, жарко. Верхушки сосен с легким шумом раскачивались над нами. Над дачным поселком писателей небо было ослепительно синее.

Борис Пастернак часто думал о смерти. Примеры можно найти в стихах и в прозе. В телефонном разговоре со Сталиным он сказал:

— Я так давно с вами хотел поговорить.

— О чем? — спросил вождь.

— О жизни и смерти.

Сталин молча положил трубку. Он не хотел говорить о смерти. Но и вожди умирают. На похороны отца всех времен и народов пришли тысячные толпы.

А Пастернак расплакался, когда увидел во сне, как много людей пришло на похороны уже не к вождю, а к нему, поэту. Это был сон, который он увидел в августе 1953 года. Меня поразило: он увидел при жизни то, что мы, приехавшие в Переделкино, увидели после его смерти.

Я вспомнил, по какому поводу

Слегка увлажнена подушка.

Мне снилось, что ко мне на проводы

Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою врозь и парами...

.....

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Показались дачи. Мы шли и шли. И это была уже не цепочка людей, а целая колонна, огромная гудящая толпа. Мы шли, разглядывая издали несколько отдельно стоящих дач. Дом поэта был окружен машинами, словно бензоколонка. Подъезжали новые машины, которым люди не сразу уступали дорогу. На повороте к дачам, на балкончике трансформаторной будки с крестом «Смертельно» стоял с кинокамерой японец. Слегка наклонившись вперед, он снимал нас. Я поднял руку, загораживая лицо, чтобы не попасть в иностранную кинохронику. Я уже понимал, что участвую не в литературном, а в политическом событии. Это было не прощание с умершим поэтом, а похороны-демонстрация.

Люди, пришедшие к дому Пастернака, выражали свое несогласие с теми публикациями в газетах, где называли поэта предателем.

Дача Пастернака стояла на краю картофельного поля. За дачей начиналась лесополоса.

Длинная очередь тянулась к дому. Мы тоже стали в эту очередь. Люди довольно быстро двигались к парадному входу. Около крыльца, в отдельно стоящей группе, я увидел Володю Гордейчева. Он специально приехал из Воронежа. Мы издали поприветствовали друг друга. Но я не вышел из очереди, и он ко мне не подошел. Я был не один, с женщиной. Когда поднимались по ступенькам на крыльцо, увидел внизу у стены дома на лавочке Константина Паустовского. Он сидел сгорбленный, усталый от скорби, как человек, потерявший близкого родственника. Потом партийные функционеры подадут записку в ЦК КПСС. И в ней будет сказано: «Из видных писателей и деятелей искусств на похоронах присутствовали К. Паустовский, Б. Ливанов, С. Бирман».

И на записке появится резолюция Н. Мухитдинова: «Ознакомить секретарей ЦК».

А как же, секретари должны знать, кто из деятелей культуры осмелился прийти на похороны опального поэта. Теперь это все опубликовано. И даже известны имена секретарей, которые ознакомились с важной информацией и расписались на документе.

Мы с Суламифь преодолели последнюю ступеньку и вошли в просторное помещение столовой. Гроб стоял на небольшом возвышении. Он был весь в цветах. Над гробом на стене — офорты, много офортов. Один особенно заметный. Полуобнаженная женщина, в розовых тонах, пытается закрыть прозрачным покрывалом обнаженные груди.

Высокий лысый человек, распорядитель похорон, торопил нас:

— Граждане, прошу вас, не задерживайтесь. Побыстрее!

Один из наших студентов-старшекурсников попытался сфотографировать Пастернака в гробу. Ему не дали. Какая-то женщина впереди нас бухнулась на колени. Иностранцы корреспонденты тотчас же начали щелкать затворами.

Мы проходили мимо гроба, стараясь замедлить шаги, чтобы все получше рассмотреть. А в это время в соседней комнате звучала музыка. Пианист, невидимый нам, играл что-то очень медленное, трагическое. Интервалы между звуками были огромные. Казалось, что эти музыкальные пропасти ничем уже не заполнишь. Умер большой поэт.

Уже во дворе мы узнали от осведомленных людей, что играл профессор московской консерватории Генрих Нейгауз, у которого Пастернак увел жену, Зинаиду Николаевну.

Впоследствии по мемуарам родных и близких я, в частности Веры Прохоровой, я уточнил: в соседней комнате играли, сменяя друг друга, Рихтер, Юдина; звучала музыка Шопена, Бетховена.

Нейгауз тоже играл, только не профессор, а его сын, Стасик, талантливый пианист, успевший к тому времени выступить в Париже.

Ирина Емельянова добавляет еще одного исполнителя: «Сменяя друг друга, непрерывно играли М.В Юдина, Святослав Рихтер, Андрей Волконский».

Это были похороны-концерт. Сын Пастернака от первого брака, Евгений, написал в своей книге: «Похороны стали незабываемым торжеством. Станислав Нейгауз, Юдина, Рихтер наполняли дом музыкой Шопена, Скрябина, Чайковского».

«Похороны стали Торжеством». Это, конечно, сильно сказано, но не о скорби. Дочь Ольги Ивинской и вовсе пишет, что «это были похороны-праздник».

Вслед за другими людьми мы вышли чрез черный ход в сад, обогнули дом и снова оказались у ворот.

Подъехал литфондовский автобус, чтобы везти гроб на кладбище. По ступенькам крыльца спустились, держа с двух сторон большой венок, недавние выпускники Литературного института Панкратов и Харабаров. В записке, поданной в ЦК КПСС, информаторы не забыли упомянуть Ивана Харабарова, недавно исключенного из комсомола. Упор делался именно на то, что молодой поэт исключен из комсомола. Про Юрия Панкратова ничего не написали, он не был исключен из комсомола.

Какие-то неизвестные мне люди с трудом вытащили из дверей дома гроб. Из мемуаров родных и близких я впоследствии узнал: гроб по ступенькам крыльца снесли во двор два диссидента: Синявский и Даниэль, восемнадцатилетний сын любовницы Пастернака Митя Виноградов и друг семьи и одновременно друг Ольги Ивинской — Вяч. Вс. Иванов.

Автобус никак не мог подъехать к дому. Мешали машины и люди. Лысый распорядитель похорон с трудом уговорил машины отъехать, растолкал людей, освобождая коридор во двор. Но едва гроб оказался во дворе, его подхватили сразу много рук:

— Не надо автобуса!

— Сами понесем.

— Дайте мне, подвиньтесь!

Желающих нести гроб оказалось слишком много. Автобус подъехал к крыльцу, но гроб пронесли мимо автобуса. В салон похоронной машины положили только крышку гроба и венки. Панкратов и Харабаров свой венок тоже положили в автобус и устремились за гробом. Когда лысый распорядитель расталкивал нас, чтобы освободить место для проезда, Суламифь оттеснили от меня. Я потерял ее из вида. Попытался найти ее и в то же время не хотел отставать от процессии.

Дорога была пыльная, люди по дороге шли тесной толпой. Я вскарабкался на боковой холм и шел по нему параллельно процессии. Отсюда мне все хорошо было видно. Покойника несли на кладбище столько человек, сколько смогли уместиться с двух сторон у гроба. Последние два человека, поддерживающие левый угол, менялись каждые полминуты. Я видел, как Панкратов и Харабаров попытались оттеснить от гроба людей, державших угол. Но им не уступили место. И тогда они через головы тоже стали поддерживать этот угол, точнее, стали держаться за него. Как потом скажет Андрей Вознесенский:

— Несли не хоронить, несли короновать...

Процессия шла довольно быстро. До деревенского кладбища, до крестов под соснами, было уже недалеко. Я обогнал процессию и занял место около ямы. Бе-

зымаянная могила с покосившимся крестом служила небольшим возвышением, откуда можно было все видеть. На холмике стоял черноволосый парень в синей куртке. Я не решался топтать могилу, стоял в проходе. Но места между соснами было мало. Люди старались подойти поближе, начали напирать. И я шагнул на могилу с крестом. Потом стали цепляться и становиться рядом другие. Какая-то блондинка с растрепанной прической совсем забыла, где находится. Она одной рукой обнимала крест, а другой держалась за меня:

— Ой, я упаду!

Родные стояли впереди. Кто-то тихо сказал:

— Чем ближе, тем чужей.

Во второй половине дня, к моменту погребения, погода испортилась, набежали тучи. У Веры Прохоровой я потом прочитал: «Никогда не забуду: когда открытый гроб подняли перед могилой, вышло солнце». Непонятно: зачем поднимать открытый гроб к солнцу. Какое-то язычество.

Я этого не помню, не заметил выскользнувшего из туч солнечного луча, символически осветившего уходящего поэта. Людям иногда хочется, чтоб природа участвовала в их ритуалах.

Французский писатель Труайя со слов Ольги Ивинской рассказывает в своей книге о Пастернаке:

«В момент, когда закрытый гроб стали опускать в могилу, зазвонили колокола церкви Преображения Господня. Наверное, это было не более чем совпадение. Но перепуганный распорядитель кричит:

— Скорее! Похороны кончились, это начинается нежелательная демонстрация».

Я не заметил луч солнца и не услышал колоколов. Возможно, так было. Все эти совпадения заметили люди, для которых похороны стали «торжеством» и «праздником».

Мемуаристы творят миф. А я присутствовал на реальных похоронах. Я видел и слышал другое.

С коротким словом выступил искусствовед, профессор Асмус:

— Отец поэта был художником, мать — музыкант. И поэтому основной темой творчества Бориса Леонидовича стало искусство...

Рядом с профессором стоял иностранец, корреспондент какой-то газеты. Он был большой, даже громадный, возвышался над всеми головами. И смотрел этот корреспондент как-то странно, в никуда, словно отсутствовал на похоронах. На его груди красовалась белая бабочка. Он вполне мог сойти за эстрадного артиста, который случайно сюда попал. Корреспондент тянулся рукой к выступающему, и я вдруг увидел: из рукава пиджака по запястью скользит проводок и заканчивается блестящей штучкой в ладони. Микрофон. Корреспондент несколько раз распахивал пиджак и что-то переключал. Аппаратура в небольшой сумке висела у него под полй пиджака. Микрофон полностью скрывался в руке. Звук поступал туда сквозь пальцы.

Профессор Асмус не видел, что его записывают. Едва он закончил говорить, из-за его спины выскользнул широкоплечий парень в клетчатой рубашке. Он закричал истерически почти в самый микрофон:

— От рабочих ему спасибо! Он хотел издать книжку, но ему помешали. Позор!

Потом появился бледный растерянный юноша. Он тоже говорил что-то взволнованным голосом, но очень тихо. Я его плохо слышал, мешала женщина, которая держалась за меня и норовила стащить вниз с могильного холмика.

Лысый распорядитель подошел к юноше:

— Товарищ, собрание закончено.

— Пусть говорит.

- Но собрание закончено.
- Дайте ему говорить!
- Не затыкайте рот человеку!

Профессор Асмус объявил траурный митинг закрытым, и распорядитель суетился, пытаясь втолковать это собравшимся, но люди не расходились. Начали читать стихи Пастернака. От кривой сосны, под которой был похоронен поэт, шагнула к венкам и цветам худенькая, мертвецки бледная женщина:

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.

Она читала внятно, сильным голосом. Боялась читать строки «замученный живьем», но читала. Последовали вспышки блицев. Кинооператор, которого я и Суламифь видели на балкончике трансформаторной будки теперь был здесь. Он направил свою камеру на женщину. Это не понравилось мужу. Он схватил корреспондента за руку так, что тот чуть не уронил камеру. Мужа оттащили в сторону, он начал драться. Но его все же как-то уняли. Смертельно бледная жена закончила чтение стихотворения «Душа» и была со стрекотом заснята для иностранной кинохроники.

В записке, поданной в ЦК КПСС, названа цифра пришедших на похороны Пастернака: около 500 человек. Возрастной и социальный состав: 150–120 престарелых людей из числа старой интеллигенции. Примерно столько же молодежи, в том числе небольшая группа студентов художественных учебных заведений, Литинститута, МГУ.

Нас, студентов Литературного института, не забыли упомянуть и общим числом, а кое-кого по отдельности. Успокаивая свое партийное начальство, составители записки сильно занизили цифру присутствующих. По свидетельству мемуаристов, да и по моему собственному восприятию, из Москвы и других городов приехали проводить в последний путь поэта несколько тысяч человек.

Может быть, распад Советского Союза и начался вот с таких тихих демонстраций.

16 июня 1960 года, то есть через две недели после похорон, К. Чуковский записал в «Дневнике»: «Когда спросили Штейна (Александра), почему он не был на похоронах Пастернака, он сказал:

— Я вообще не участвую в антиправительственных демонстрациях».

Да, именно так. Не все отчетливо сознавали, но это было антиправительственное выражение скорби.

Володя Гордейчев, с которым я успел поздороваться издалека, был на кладбище где-то рядом. Он видел то же, что и я. Эти впечатления отозвались в нем после похорон неожиданными метафорами. Могилу Пастернака он сравнил с окопом. И книгу свою назвал так, будто побывал во время боевых действий на Курской дуге или под Сталинградом:

ОКОПЫ ЭТИХ ЛЕТ

Когда и совесть ставят на кон,
Нам умиляться не к лицу.
Мы хоронили Пастернака
В столетнем мачтовом лесу.
Не моды ради — в ней ли доблесть? —
Мы шли за умершим не зря:
В его стихах мы знали отблеск
Боев во славу Октября.

В кольце качавшегося гула
Я бред, не ведая сполна,
Что многое перечеркнула
Поэта мертвого вина.
Уже под соснами, к которым
Покойный хаживал не раз,
Я пригляделся к репортерам,
Свой бизнес делавшим у нас.
Они нацеливали «блицы»
И на откосе ветровом
Метали пламя в наши лица,
Как на краю передовом.
И кто-то, в жилистую руку
Взяв микрофон и выбрав нить
Шнура, держал его гадюкой,
Готовящейся укусить.

По метафорам даже талантливо. И это верный признак того, что Володя Гордейчев писал искренне. Стихи верные в описании похорон, были неверны по отношению к тому, кого похоронили. Но я тогда не очень отчетливо это понимал. Я был такой же советский. Мы, советские, очень долго не могли отказаться от Октября. Есть это даже у Окуджавы: «И комиссары в пыльных шлемах». Есть у Евтущенко, написавшего про Ярослава Смелякова: «Верит он в революцию убежденно и зло». Володя Гордейчев ценил у Пастернака революционные поэмы, но считал, что роман «Доктор Живаго» их перечеркнул. Самого романа он тогда еще не читал, доступны были только возмущенные отклики в газетах, но этого хватило, чтобы написать прямо на погосте:

И с неожиданною силой
Я ощутил, что мы стоим
Не над гражданской могилой,
А над окопом фронтовым.
И что не мог забыть про схватку
В гробу покоящийся тот,
Кто продал недругу взрывчатку,
Заложенную в переплет.

Взрывчатку заложил в переплет не Пастернак, а Нобелевский комитет. Шведская академия в очередной раз присудила не художественную, а политическую премию по литературе.

Члены Нобелевского комитета (при существовании двух систем в мире) поступили, как учил Ленин: «Партийная жизнь — партийная литература». Пастернак, помимо своей воли, стал партийной литературной на Западе, и потому был объявлен предателем у себя дома.

27 октября 1958 года, через четыре дня после присуждения Нобелевской премии в Доме кино состоялся митинг, на котором писательница Г. Николаева назвала Пастернака «власовцем». На других собраниях и в газетах называли его «лягушкой в болоте», «сорняком». Есть такая трава, пастернак, растет на обочинах дорог.

Все эти ругательства на собраниях и в печати воспринимались как отдаленный газетный шум. А стихи Володи Гордейчева, земляка-воронежца — это уже было близко. Я, выходит, стоял вместе с ним на краю окопа. И делая записи о том, как тянулись кинокамерами и микрофонами к нашим лицам иностранные корреспонденты, похоже, создавал свои «окопы этих лет». От кинокамеры японского корреспондента я даже загородился рукой, как от опасности. Он стоял на балкончике трансформаторной будки, на которых обычно пишут: «Не подходи, убьет!»

Толпа с кладбища потянулась на станцию. На дороге я, наконец, увидел Суламифь, догнал ее. Она никак не хотела примириться с тем, что Пастернак умер.

— Мозг умирает последним, — немного устало сообщила она мне. — Запах хвои, цветов раздражает обоняние, и сигналы поступают в клетки мозга. Наконец, удары комьев земли о крышку гроба. Все это должен ощущать покойник.

— Ты думаешь, остатки сознания сохраняются в мертвом теле?

— А как же. Почему некоторые покойники сидят.

Подошла электричка. Народу было много. Мы опять вынуждены были ехать стоя.

Но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет — Пастернак Л. Б.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО — ГОЛОС ОТТЕПЕЛИ

В 1959 году я подал документы в Литературный институт. Прошел собеседование, сдал экзамены. Списки еще не были вывешены. Мы все, ожидающие решения приемной комиссии, толпились в небольшом садике перед входом в старинный особняк. В центре этого садика, между больших деревьев возвышалась бронзовая статуя Герцена. Это был его дом с уютным крыльцом, с большими окнами.

Стали появляться на крыльце члены приемной комиссии. Вышел Лев Ошанин. Мы окружили его. Посыпались вопросы. Я придвинулся бочком, спросил:

— А Пашнев как?

Лев Ошанин посмотрел на меня;

— А где он?

— Я.

Он протянул руку:

— Будем работать.

Я не успел ничего ответить, пожал руку и радостно отошел в сторону. Мое место сразу заняли. Ошанин в этом году набирал поэтический семинар, от него зависело: кого взять. Сыпались вопросы, звучали фамилии. Но я уже ничего не слышал. Был оглушен известием: поступил в Литературный институт имени Горького.

Еще продолжалось барабанное время, как в этих стихах, не помню чьих, кажется, Ильи Сельвинского?

Пара барабанов!
Пара барабанов
Била бурю.
Пара барабанов!
Пара барабанов
Била бой.
Шли бойцы
Шли балагуры,
Шли газетчики из ПУРа...

Но уже можно было писать о любви. «Правда» напечатала на своих политических страницах подборку любовной лирики Степана Щипачева. Журнал «Октябрь» опубликовал поэму Роберта Рождественского «Моя любовь».

В год моего поступления в институт, в сентябрьском номере все того же «Октября», появились скандальные стихи Евгения Евтушенко:

Ты спрашивала шепотом:
«А что потом?»
А что потом?»
Постель была расстелена,
И ты была растеряна...

И, наконец, совсем невероятной: была объявлена Всероссийская поэтическая дискуссия «Поэт и современность».

Леонид Соболев, руководитель Союза писателей РСФСР, так определил событие: — Первое в истории русской и советской поэзии совещание «Поэт и современность».

При Сталине невозможны были никакие литературные дискуссии. В начале тридцатых в Ленинграде при поддержке Кирова выходил журнал «Проблемы марксизма». Его получала вся страна по подписке. В нем обсуждались спорные политические вопросы. Еще до убийства Кирова на одной из очередных книжек журнала Сталин написал: «Чепуха!» И журнал перестал выходить. Никаких проблем у марксизма не могло быть.

Хрущевская оттепель давала надежду на свободное высказывание мнений. О начале дискуссии в Ленинграде сообщили все газеты: открытое столкновение мнений начнется 10 декабря 1959 года.

Мы, студенты Литературного института, с особым интересом ждали этого события. В 1959 году, несмотря на огромный конкурс, из Воронежа в Литинститут поступили сразу двое: я и мой друг Роман Харитонов. Мы жили в общежитии на Добролюбова в одной комнате, сидели в аудитории за одним столом. Студенты нашего курса в перерывах и даже на лекциях шуршали газетами, выискивая сообщения: кто едет, кто не едет. Было известно: от Литературного института едут четыре писателя, руководители семинаров, и два студента-пятикурсника. Имена студентов не сохранились в моих блокнотах. В дискуссии, видимо, не участвовали, съездили в Ленинград туристами.

Мы знали от нашего Льва Ошанина, поэта-песенника («Кони сытые бьют копытами»): он готовит большой доклад, которым и откроется поэтическая дискуссия. Тогда это нас не удивило. Ошанин был руководителем семинара. Он выбрал нас. Благодаря этому мы с Харитоновым жили и учились в Москве. Чем выше была трибуна у Льва Ивановича, тем значительнее чувствовали себя мы, его студенты. До начала дискуссии оставалось два дня. Мы шли с Харитоновым после лекций к троллейбусной остановке. Роман неожиданно остановился:

— Пашнев, поехали в Ленинград?

— Как? У нас же лекции.

— Плевать. Историческое событие — дискуссия. Они будут там обсуждать. А мы чего? Ты поэт или не поэт?

Я не знал, что ему ответить. Я учился в Литературном институте «на поэта», но все еще стеснялся называть себя поэтом.

— Для поездки нужны деньги.

— Продадим часы.

— Какие часы?

— Мои часы.

Он расстегнул ремешок на руке, снял часы и держал их так, как будто уже продавал.

На вокзале, уже в вестибюле и на перроне, мелькали лица известных писателей. У них были специальные приглашения. Они знали, в какой гостинице будут жить, где будут обедать. Мы ехали самозванцами. Ночевать собирались на вокзале, денег на еду немного оставалось — как-нибудь переберемся. Главное было — попасть в зал. Мы собирались обратиться за приглашением в Ленинградский союз писателей. В вагоне неожиданно встретили еще одного воронежца — Володю Гордейчева. Два года назад (в 1957-м) он окончил Литературный институт. И теперь заведовал отделом поэзии в журнале «Подъём», вел литературное объединение. Мы с Харитоновым до поступления в Литературный институт ходили на занятия к Гордейчеву. Он был нашим учителем. Визитной карточкой его были стихи:

Не могу отмалчиваться в спорах,
Если за словами узнаю,
Циников, ирония которых,
Распалает ненависть мою.

Гордейчев входил в обойму знаменитых молодых поэтов хрущевской оттепели. Его называли рядом с Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Егором Полянским. Все они учились на одном курсе. Все они, недавние выпускники, ехали в Ленинград этим же поездом. Евтушенко, впрочем, не окончил Литературный институт. В 1957 году его исключили «за академическую неуспеваемость» на самом деле, за выступление в защиту романа Дудинцева «Не хлебом единым».

Володя Гордейчев встретил нас широкой улыбкой на аскетичном лице:

— Вы куда собрались, ребята?

— Куда все — на дискуссию, — ответил Харитонов.

— Оч... хор!.. — Он любил сокращать слова, не произнося их целиком, а только начальные буквы; отчего выражение приобретало дополнительную твердость «оч. хор!..»

— Но у нас нет приглашения, — сказал я.

— Если чего-то нет — оно может появиться. Что-нибудь придумаем, — пообещал Гордейчев.

Поезд прибыл в Ленинград на Московский вокзал рано утром, в 6 часов с минутами. Из соседнего вагона вышел Михаил Светлов. Мы невольно остановились, чтобы посмотреть на знаменитого автора «Каховки» и «Гренады». На дружеских шаржах рисовали его профиль в виде полумесяца с длинным носом. Володя Гордейчев подтолкнул меня и Романа:

— Идите к нему, он поможет.

Михаил Светлов стоял у вагона сгорбленный, помятый и не совсем трезвый. Он растеряно оглядывался, видимо, кого-то ждал.

Мы подбежали:

— Михаил Аркадьевич, мы студенты Литературного института, — быстро проговорил я, — приехали тоже на дискуссию. Но у нас нет билетов. Помогите!

— Ребята, я потерял все документы и деньги. Ничем вам помочь не могу, — сказал Светлов.

К нему, наконец, подошел человек в дубленке и мохнатой шапке, который, видимо, должен был встречать знаменитого гостя из Москвы. Он забрал у Светлова чемоданчик, и они быстро двинулись к выходу. Роман Харитонов смотрел с удивлением вслед уходящим:

— Он что, подумал, что мы денег у него просим?

— Нет! Пошли! — обнял Романа за плечо Гордейчев. — Ему просто не до вас. У него свои проблемы.

Мы с Романом были впервые в Ленинграде. Гордейчев хорошо знал город. Он повел нас завтракать в кафе на Невском проспекте. В небольшом зале, расположенном в полуподвальном помещении, в этот ранний час никого не было. Гордейчев хозяйским жестом предложил нам сесть за столик у фикуса. Сам пошел к буфетной стойке. Перед нами появились тарелки с салатами, тарелки с дымящимися сосисками и зеленым горошком. Потом мы пили кофе с булочками. Как старший товарищ, находящийся при деньгах, Володя сам за все заплатил.

После завтрака поэт Гордейчев поехал устраиваться в гостиницу «Европейскую», где ему был заказан номер. А мы, студенты, отправились разыскивать Дом писателя имени В.В. Маяковского. По примеру воронежского и московского союзов мы знали: чиновники-писатели рано не приходят на работу. Но когда мы появились в особняке на Воинова, дом № 18 (ныне Шпалерная), там уже царил оживление. Из кабинета в кабинет бегали какие-то девочки с бумагами, и так же

торопливо входили и выходили мужчины средних лет. У всех озабоченные лица, никого нельзя остановить. Дискуссия открывалась завтра, очевидно, у местных устроителей много еще было проблем. В конце концов, нам удалось зайти в один из кабинетов. Писатель-чиновник, а может, просто чиновник, встретил нас холодно. Светловолосый человек с бесцветными глазами, смотрел на нас, держа руку на телефонном аппарате; его лицо изображало страдание:

— Слушаю вас?

Я снова спел свою песню:

— Мы — студенты Литературного института, приехали на дискуссию на свой страх и риск. Не могли бы вы дать нам гостевые билеты?

— Нет!

Тут под рукой чиновника зазвонил телефон. Разговор был окончен. Свободной рукой он показал нам на дверь.

Мы вышли на улицу с унылыми лицами. Запас дерзости и лихости, с которыми мы ринулись на дискуссию, куда нас никто не приглашал, закончился. На душе сделалось тоскливо и скучно.

— На вокзал? — Спросил я.

— Нет, в «Европейскую», — ответил Харитонов.

— К Гордейчеву?

— К Ошанину.

— Ты думаешь, он обрадуется?

Харитонов не ответил. Он не хуже меня понимал: Лев Иванович вряд ли одобрит наше самовольное появление в Ленинграде. По решению дирекции послали от Литературного института двух студентов-пятикурсников. А мы проучились всего три месяца и туда же. Ошанин завтракал в ресторане. Мы подождали его, сидя на мягком диванчике у входа. Едва он появился, мы одновременно встали, как солдаты перед генералом. После завтрака наш руководитель был приятно сыт и весел. Его подслеповатые глаза за толстыми стеклами очков смеялись:

— Кого я вижу... Вы не перепутали, ребята, здесь большой семинар. А вы пока посещаете маленький.

— У нас тут и там один мастер, — мрачно проговорил Харитонов.

Лев Иванович покачал головой.

— Вас же выгонят из института за прогулы. Ладно! Вместе будем отвечать.

В самом деле, мы, первокурсники, приехали на большой семинар, на котором наш руководитель делал главный доклад. Приехали продолжать учебу. Ошанину это понравилось.

— Есть какие-то проблемы?

— У нас нет билетов в зал, — сказал я.

— Айда!

Ошанин завел нас в свой огромный номер, извлек из бумажного беспорядка на столе два пригласительных билета. Беря их, он подносил билеты к самым очкам, иначе не видел. А надо было убедиться, что билеты чистые, никому не подписанные.

Мы вышли из гостиницы довольные собой и нашим руководителем. Правда, нам негде было ночевать, но об этом мы даже не вспомнили, пока не оказались на улице.

— На дискуссию мы все-таки попали, — сказал я. — Но где мы будем ночевать?

— У меня есть идея, — сказал Роман.

— Вокзал?

— Ленинградский университет.

Во второй половине дня (ближе к вечеру) мы появились в общежитии Ленинградского университета. В вестибюле за столиком сидела женщина средних лет в

шапке и безрукавке. Мимо нее проходили студенты, она почти не смотрела на них. Но, увидев нас, резко поднялась:

— Куда?

— Туда! — показал Роман на лестницу.

— Пропуск.

Пропуска у нас не было.

— Позовите кого-нибудь из студкома.

Роман был активным общественником в нашем институте, входил в студком.

Женщина уселась на свое место.

— Сейчас брошу все и пойду звать.

— А чего тут бросать? Пока вы будете ходить, мы подежуриим вместо вас.

Женщина не поняла, что Роман шутит.

— Отойдите! — громко сказала она, почти закричала. И при этом вся напряглась, готовая к борьбе.

Мы отошли. Нас выручила студентка, задержавшаяся у почтовых ячеек с письмами. Она перебрала конверты в ячейке на свою букву: ей ничего не было; повернулась к нам:

— Как фамилия? Я позову.

Роман обаятельно улыбнулся, как он обычно улыбался, знакомясь с девушками:

— Мы не знаем фамилию. Кого-нибудь из студкома.

Минут через пятнадцать спустился по лестнице в хлопающих по ступенькам тапочках худощавый носатый парень с большим чубом, как у Ландау. Он выслушал нас, наклонив голову. Сразу все понял. Они — студенты, мы — студенты. Приехали, чтобы участвовать в дискуссии. А как могло быть иначе, если студенты пишут стихи, а дискуссия поэтическая.

Ландау привел нас в свою комнату, оставил на некоторое время одних. Ему удалось собрать только трех человек: двух парней и девушку. Расспрашивали нас недолго, студенческие билеты посмотрели, но не очень внимательно. Молодые поэты приехали на три дня в Ленинград, а жить им негде. Какие тут могут быть вопросы?

Это было время поэтических вечеров в аудиториях и на площадях. В метафорах поэтов звучала правда о переменах в стране и в мире. Эти метафоры тревожили молодых людей, особенно студентов. Сейсмографы улавливают малейшие колебания земли и чертят графики. Поэты улавливают малейшие колебания в жизни общества и сообщают об этих колебаниях в стихах. Таким поэтическим сейсмографом был Евгений Евтушенко. В 1957 году он опубликовал программные строки:

Большой талант всегда тревожит.

И, жаром головы кружа,

Не на мятеж похож, быть может,

А на начало мятежа.

По сути дела, он объявил о начале мятежа молодой литературы. Общество уловило эту тенденцию, стало прислушиваться к поэтам. И нас услышали в общежитии Ленинградского университета без чтения стихов, поверили, что мы тоже литературные мятежники: молодые, дерзкие, без всяких полномочий явились на поэтическую дискуссию.

По решению неполного состава студкома нас поселили бесплатно в комнате на четвертом этаже на все время дискуссии, то есть на три дня. Тут же нам выдали чистое белье. Но прежде чем застелить кровати, мы подошли к окну, полюбовались видом города. Из нашего окна была видна заснеженная набережная Невы и Зимний дворец на той стороне. Город был наш. Все у нас получилось. Билеты есть. Утром позавтракали в уютном подвальчике на Невском. А вечером уже получили комнату в общежитии Ленинградского университета.

Встали рано, нас ждало главное событие, ради чего приехали. Морозное утро бодрило. Мы шли, подпрыгивая, переходя с шага на бег. Город был обклеен веселыми афишами зоопарка. Художник изобразил маленького смешного жирафа. Крупные, цветные буквы сообщали: «В Ленинградском зоопарке родился жирафенок».

— Смотри-ка, — сказал Роман, поеживаясь, — зимой родился. — Через паузу добавил: — Я тоже зимой родился.

Войдя в Дом писателя, мы встретили в гардеробе Гордейчева. Он был уже без пальто.

— Вы здесь — безбилетники? Оч... Хор...

В толпе мелькнула сутулая фигура длинного Евтушенко. В одежде поразила непохожесть, если не сказать, странность: вместо пиджачной пары и галстука, как на всех, на нем была кофта с красным бантом. Евтушенко нарочито выделился. Он был фантастически знаменит в то время. Некоторые поэты старшего поколения и даже ровесники воспринимали это как недоразумение, как незаслуженный успех, добытый за счет скандальной откровенности.

За день до дискуссии в газетах была проведена артподготовка. В «Литературе и жизни» (9 декабря 1959 г.) из крупнокалиберной пушки бабахнул Сергей Наровчатов. Выступил он «против «радиоловых» стихов», называл разных поэтов, но целился в одного Евтушенко. Именно ему была посвящена заключительная, гневная, колонка в статье. Поводом послужило стихотворение «Ты спрашивала шепотом: а что потом? а что потом?»

Эти начальные строки успели процитировать все газеты и журналы, которые критиковали Евтушенко за «постельную» поэзию. Чтобы не повторяться, Сергей Наровчатов их не взял; он подверг разносной критике все остальные строки стихотворения. Так уничтожают графоманов, не находя ни одной достойной строчки. Стоит привести полностью эту искреннюю, но предвзятую критику, когда критикуют не за стихи, а за то, что нос не нравится или не нравится успех у читателей.

«В 9-м номере «Октября» читаем стихи Е. Евтушенко:

В твоих глазах — насмешливость,
И в них приказ — не смешивать
Тебя сейчас с той самой,
Раздетою и слабою.

Но это — дело зряшное.
Ты для меня вчерашняя,
Стыдящаяся, жалкая,
Как в лихорадке, жаркая.

Пошлость? — спрашивал Наровчатов. — Разумеется. Да еще какая — махровая. О любимой поэта говорится... (И он приводит четыре строчки из другого стихотворения):

И в тувельках на микропоре
Сквозь уличную молодежь
Идешь ты мимо «Метрополя»,
Отдельно, замкнуто идешь.

Торжествующая мелкая пошлятина шествует на микропорке по поэзии».

Полемизировать с Наровчатовым поздно, да и не место здесь. Но все же: почему девушка, идущая мимо «Метрополя» на пружинистых туфлях, — пошлость? Только ради критической метафоры, только ради того, чтобы и Евтушенко обуть в такие недостойные советского поэта туфли? И Наровчатов завершает статью следующим абзацем:

«Приведенные стихи способны привести в отчаяние любого рецензента. В них есть внешние признаки поэзии, голой рукой их как будто не возьмешь... Но ведь «король» голенький... Беда его в том, что он не замечает грань, отделяющую юность от зрелости. Ему 25 лет, он не мальчик и становится просто смешным в своей позе выразителя настроений молодежи. У авторов «радиоловых» стихотворений нет для этого никаких данных».

Слово «король» Наровчатов берет в кавычки, чтобы не подумали, что он считал Евтушенко королем поэтов. И король-то не голый, а голенький. И туфли, в которых он шествует по поэзии не на микропоре, а на микропорке. Всюду такие мелкие, если не сказать, мелочные уточнения.

После такой артподготовки, проведенной перед началом дискуссии не только в газете «Литература и жизнь», Евтушенко и оделся вызывающе. Дискуссия проходила в Доме писателя имени Маяковского. В свое время Маяковский, эпатурируя публику, ходил в желтой кофте с морковкой, торчащей из нагрудного кармана. Носил он иногда и блузу с бантом. Всем сразу стало понятно: кофта с бантом на плечах Евтушенко — цитата из Маяковского.

Мы сели рядом с Гордейчевым в середине зала. В Президиуме заняли свои места руководители Союза писателей РСФСР. А у дверей, в конце зала, все еще толпились поэты. Поднялась Людмила Татьяничева, обратилась со сцены к ним:

— Товарищи, проходите — в зале так же много мест, как в поэзии.

Все быстро разошлись по рядам, приготовились слушать доклад. Не присел только Евгений Евтушенко. Он стоял в конце зала, прислонившись к косяку закрытой двери. Руки держал сложенными на груди, под бантом.

Лев Ошанин своей обычной суетливой походочкой двинулся к трибуне, положил на нее листки доклада, низко наклоняясь к ним, начал говорить. Я достал блокнот, записал первую фразу:

— Начиная дискуссию, снимем сразу наклейку об отставании поэзии...

Резануло слух «наклейка». Лев Иванович, чуткий к слову поэт-песенник так странно заявил, что есть какая-то наклейка об отставании советской поэзии. Ни о чем таком мы с Романом не слышали и не читали.

Размышляя об этом, я пропустил часть доклада, пока не прозвучала фамилия Евгения Евтушенко. Вдохновенно вскидывая голову от листков доклада, Лев Иванович проговорил:

— Евтушенко очень часто в своих стихах становится в позицию женщины. Не пора ли мужчиною стать?

Ничего смешного он не сказал, но зал взорвался гомерическим хохотом. Залу хотелось уничтожить смехом поэта с бантом. Под этот смех Ошанин продолжал говорить, не заглядывая в листки доклада. Свое отношение к Евтушенко он знал наизусть и без написанного текста.

С коротким словом выступил Леонид Соболев, руководитель Союза писателей РСФСР:

— Пора разобраться в поэзии РСФСР. Пора сказать всему миру, что поэзия русская существует в превосходном качестве, спекулируя четырьмя именами поэтов на западе недопустима...

Вот настоящая причина дискуссии. Главный организатор трехдневного совещания в Ленинграде четко обозначил проблему. Вся поэзия РСФСР существует в превосходном качестве. И только четыре молодых поэта шагают не в ногу. Их надо поставить на место.

На дискуссию приехали больше ста знаменитых поэтов. Но так уж устроено в литературе, что сто меньше одного. Выразителями настроений в обществе являются самые талантливые. А их в каждую эпоху немного.

Андрей Вознесенский впервые после дискуссии слова Леонида Соболева о четырех поэтах. В стихотворении, посвященном Белле Ахмадулиной, он написал: «Нас мало, нас, может быть, четверо».

Назвать эту четверку мог без труда любой активный читатель тех лет: Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава. Был еще Роберт Рождественский, Он входил в блистательную обойму, но, по мнению официальной критики, оставался советским поэтом, и потому о нем говорили отдельно. Андрей Вознесенский четвертым явно считал поющего поэта Булата Окуджаву, которого тоже называли «пошляком» за его песни под гитару.

Вспомним еще раз строки Евгения Евтушенко 1957 года:

Большой талант всегда тревожит
И, жаром головы кружа,
Не на мятеж похож, быть может,
А на начало мятежа.

Начало мятежа партийные функционеры от литературы пропустили. Но к 1959 году стало очевидно, что молодые поэты, которых стали переводить на Западе, угрожающе свободны в выражении своих мыслей и чувств. Всероссийское сощещание «Поэт и современность» возникло из потребности подавить этот мятежный поэтический «Кронштадт».

Евтушенко стоял далеко от президиума — в конце зала, у закрытых дверей. Но его сутулую фигуру в кофте с бантом видно было отовсюду. Он не прятался в толпе, он выставлялся напоказ.

Вышел выступать Кайсын Кулиев. Доклад Ошанина ему не понравился. Горячий кавказский человек взмахнул рукой:

— Я хочу обрушиться с саблей наголо на докладчика.

Но тенденция была задана. И даже такой мудрый человек «с саблей наголо» не удержался от осуждения «мятежников». Имени Евтушенко он не назвал. Но свое ироническое отношение к «радиоловой» поэзии высказал:

— Поэтов воспринимают, как теноров: Козловского, Лемешева. Один из поэтов пришел на дискуссию с бантом...

И все повернули головы, чтобы посмотреть на «одного из поэтов», стоящего у дверей, дразнящего собрание бантом.

Руководитель Ленинградской писательской организации Александр Прокофьев, хороший поэт, толстый, добродушный человек, начал почти ласково:

— Евгений Евтушенко — наш московский проказник. Вы — позер, Евгений Евтушенко!

Это он, конечно, про кофту и бант. А дальше — и вовсе непонятное: про такси:

— Между прочим, вы, Евгений, все время на такси передвигаетесь. Вы въезжаете в литературу на такси. Но с чем? Наш народ никогда не смеется над тем, что называется интимом.

Я привожу не все слова, только те, что записал тогда же и долго хранил в старых блокнотах.

Михаил Дудин, хороший поэт, остроумный человек, не был так категоричен, как Александр Прокофьев. Он относился к Евтушенко лучше, может быть, даже совсем хорошо.

— Есть у Евтушенко отличные стихи, есть и пошлятина. Писать стихи о кровати, которая была расстелена, — это все равно, что без штанов бегать вокруг Александровской колонны.

Что произошло с Дудиным, Наровчатовым, Прокофьевым, Ошаниным и многими другими? Что они усмотрели необычного в словах «Кровать была расстелена, а ты была растеряна»? Не читали интимных стихов А. Пушкина, например:

Нет, я не дорожу мятежным наслаждением.
Ты предаешься, мне нежна без упоенья,
Стыдливо холодна восторгу моему,
Едва отвечаешь, не внемлешь ничему.
И оживляешься потом все боле, боле
И делишь, наконец, мой пламень поневоле.

Если у Евтушенко описана прелюдия любовных отношений по логике талантливых поэтов, но неудачных критиков, то у Пушкина можно вычитать и почувствовать что? Не восторженное поэтическое отношение к жене-красавице, а подробности стыдного полового акта?

Может быть, М. Дудин предложил бы и Пушкину бегать без штанов вокруг Александрийской колонны. Она тогда уже стояла.

У Бориса Пастернака в «Зимней ночи», между прочим, тоже кровать была расстелена. Свеча горела на столе, свеча горела; и падали два башмачка со стуком на пол. Благодаря этой свече и страсти влюбленных, кино можно было смотреть на потолке:

На озаренный потолок
Ложились тени.
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

Константин Симонов в книге «С тобой и без тебя», посвященной Валентине Серовой, бережно и нежно писал о многих интимных подробностях, в том числе...

О белой и прохладной коже
И о лице с горящим ртом.
О яростной последней дрожи
И об усталости потом.

Константин Симонов несколько раз был награжден Сталинскими премиями. Про книгу интимной лирики вождь сказал:

— Надо было издать в двух экземплярах: ему и ей.

Уже шесть лет страна жила без «отца и учителя». Но приехавшие на дискуссию поэты и критики в своих публичных выступлениях продолжали хранить сталинское «целомудрие».

Выступления продолжались. Каждый считал необходимым упрекнуть молодого поэта. Что «мятежников» четверо (по подсчетам Л. Соболева), забыли. Учили правильно писать и правильно одеваться одного Евтушенко.

Николай Тихонов, автор двух замечательных книг «Орда» и «Брага», знавший лично Маяковского, сказал:

— Маяковский — это же праздник слова, роскошество ума. Сейчас уже ни желтые, ни красные кофты не годятся. При настоящей талантливости надо соображать в какое время живешь.

Наконец, на сцену взобрался лохматый Василий Федоров, человек с широкими, очень уверенными жестами («раззудись, плечо, размахнись, рука, шире дедова»). Он был одним из любимых поэтов в мои студенческие годы.

— Мальчик весь в бантиках, — повернулся к президиуму. — Вот я неоднократно слышу, что Евтушенко не пускают за границу. Здесь сидят руководители. И я хочу им сказать: «Пустите Дуньку в Европу!..»

Президиум заулыбался, в зале раздался дружный смех, аплодисменты. Зал охотно поддерживал критику в адрес Евтушенко

В президиум пришла записка с предложением объявить премию в 173 рубля тому, кто не назовет ни разу имени Евтушенко. Не знаю, почему такую странную сумму назвали, должно быть для юмора.

Передавали ответ Евтушенко:

— Эту премию я получу сам.

И так — три дня: захопывали, оскорбляли, шутили шутки. Если применить слово, изобретенное Маяковским, то это была не дискуссия, а «стихобойня».

Несколько человек пытались изменить настроение зала. Павел Антокольский сказал:

— Мы поступаем с Евтушенко нечестно. Я очень люблю стихи Евтушенко.

Ашот Гарнакерыан:

— Евтушенко — мужественный человек.

Сергей Васильев:

— К ошибкам талантливого поэта надо относиться более терпимо.

И, наконец, Борис Слуцкий:

— Так с поэтами не разговаривают. А если разговаривают, то нарываються на неприятности.

В моем ленинградском блокноте записан еще один оратор: Савостин. Не знаю, кто такой. Ни раньше, ни позже эта фамилия мне не встречалась. Он сказал:

— Предлагаю издать Евтушенко миллионным тиражом.

Возможно, это был юмор, но пророческий.

Поэта с бантом три дня подряд критиковали. Это был триумф Евгения Евтушенко.

Критик Стариков возмутился:

— Не надо превращать дискуссию в пленум по поводу Евтушенко.

Не надо, так не надо. Но на третий день Всероссийскую поэтическую дискуссию «Поэт и современность» стали называть «Евтушенко и современность». Так шутили. Но, может быть, историческое значение дискуссии было именно в этом?

Одним словом, как написал незадолго до этого Евтушенко в стихотворении «Карьера»:

Зачем их грязью покрывали?

Талант — талант, как ни клейми.

Забыты те, кто проклинали,

Но помнят тех, кого кляли.

На второй день, едва мы вернулись «домой» после вечернего заседания, за нами пришли: «Ландау» из студкома и незнакомая девушка в зеленом бархатом платье.

— У нас учатся англичане, — сказала она, — сегодня у одного из них день рождения. Пойдемте, они приглашают.

— Англичане, день рождения, — повторил Харитонов. — Но у нас нет подарка.

— Без подарка.

— Мы не говорим по-английски, — и посмотрел на меня

— Мы не говорим по-английски, — подтверди я.

— Они говорят по-русски. Они — слависты. Им интересно познакомиться со студентами Литературного института.

Нас встретили со сдержанным гостеприимством. Англичан было трое. Каждый представился. Патрик, высокий скуластый парень из Ливерпуля, сказал тост. Он прочитал почти без акцента стихотворение Роберта Бернса «Заздравный тост» в переводе Маршака:

У которых есть что есть,
те подчас не могут есть.

А другие могут есть,
да сидят без хлеба.

А у нас тут есть, что есть,
да при этом есть чем есть, —

Значит, нам благодарить
Остается небо.

Мы не ожидали, что англичане на своем дне рождения будут читать стихи по-русски. Такое продолжение дискуссии в общении Ленинградского университета было приятно. Они и хотели, чтобы нам было приятно. Выпили, начали закусывать. И Роман Харитонов сделал ответный жест:

— А как это звучит по-английски? Прочтите.

— Не надо, — ответил Патрик. — По-английски это не так, или, как сказать, не очень. Роберт Бернс писал на шотландском диалекте. А это все равно, как ваш древнеславянский. Мы восхищаемся Робертом Бернсом на русском языке в переводах Маршака.

Разговор с иностранными студентами странно волновал. Тогда такие встречи были большой редкостью. Эти люди из другого мира знали не только Маршака, но и наших знаменитых молодых поэтов, про которых Л. Соболев говорил: «Спекуляция четырьмя именами поэтов на Западе недопустима». А нас спрашивали именно про них. Мы отвечали искренне, но при этом и меня и Романа одолевали сомнения: не выдаем ли мы важные государственные секреты, рассказывая, как на дискуссии критикуют Евгения Евтушенко.

Несколько раз, как это бывает в застолье, разговор возвращался к Роберту Бернсу в переводах Маршака. В свою комнату, с видом на Неву и Зимний дворец, мы вернулись возбужденные.

— Представляешь, как бывает, — удивлялся Роман, — Маршак создал Роберта Бернса, которого в Англии не существует. Надо рассказать кому-нибудь, чтобы все узнали.

— Можно рассказать Гордейчеву, — сказал я.

— Пашнев, а почему нам самим не выступить? Мы зачем сюда приехали?

Наша наивность и наше желание отличиться не имели пределов. Мы сели писать речь. Начали мы, конечно, не с англичан. Сохранились тезисы из 4-х пунктов:

- 1) Почему мы приехали в Ленинград?
- 2) Почему мы приехали в Москву и чего мы ждем от Литературного института?
- 3) Маршак и Роберт Бернс.
- 4) Евтушенко.

Приехали мы в Ленинград случайно, но в момент написания речи поняли вдруг: приехали защищать Литературный институт. В профессиональной писательской среде время от времени возникал вопрос: нужно ли учебное заведение, где учат сочинять стихи, где прививают бесполезное умение «ямп от хорей отличать». В 1959 году был как раз такой случай. Передавали слова Твардовского, который где-то кому-то сказал:

— На поэта выучиться нельзя. Топи котят, пока слепые!

Мы, первокурсники из семинара Льва Ошанина, были теми «слепыми котятками». Проучились всего три месяца, но уже любили свой литературный дом. Роман ходил по комнате, размахивая руками, и со страстью в голосе произносил первые фразы речи. Я сидел за столом, записывал в школьной тетради:

— Мы знали, что на поэта выучиться нельзя ни в каком институте. Но зачем же мы тогда приехали в Москву? Что нам надо от Литературного института? Нам нужна культура — культура слова, культура поведения и вообще всякая культура.

Один из нас валил лес, другой служил в армии, работал грузчиком, но ни тот, ни другой никогда не были в Третьяковской галерее, в Ленинской библиотеке, в Большом театре.

«Валил лес» Роман Харитонов. Он по молодости лет связался с уличными ребятами. Был осужден, четыре года отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии под Воронежем.

Служил в армии и работал грузчиком — я.

Вот так по-детски просто «лесоруб» и «грузчик» объясняли сами себе и возможным слушателям, зачем они поступили в Литературный институт: чтобы ходить в Третьяковку, в Большой театр и повышать «культуру поведения». На включение этой фразы в нашу речь настоял Роман Харитонов.

Спать мы уже не могли. В 7 часов утра были в гостинице «Европейская». Нам казалось: мы написали интересное выступление, и потому смело постучались в номер главного докладчика. Ошанин вышел к нам в подштанниках. Майка задралась, был виден голый живот толстого, сытого человека. Пристраивая очки на свое широкое лицо, он сильно наклонился вперед, чтобы лучше видеть:

— Это вы? Что случилось?

— Лев Иванович, мы написали доклад, — сказал Харитонов, — Мы хотим выступить.

— Выступить? Где?

— Ну, здесь, на дискуссии, — нахальство в голосе моего друга сменилось легким смущением.

— Бред беременной медузы. Заходите!

Он впустил нас в номер. Было видно: сильно разозлился, разбудили так рано. Я держал наготове листки нашей речи, Лев Иванович направил на них свои очки:

— Вы что решили читать мне свой доклад в семь часов утра? Ну, читайте!

Он сел в кресло. Мы стояли перед ним. Я начал читать. Ошанин слушал мое чтение с молчаливым раздражением, что было видно по его лицу и по нетерпеливому, нервному движению рук. Это меня сбивало с ритма, я спотыкался на некоторых фразах. Но по мере дальнейшего чтения, Ошанин стал слушать более внимательно, взгляд и поза подобрили, особенно когда в заключительном разделе мы начали критиковать Евтушенко. Полный текст «доклада» не сохранился. Я снял с полки том «Весь Евтушенко», перечитал стихи за 1953–1959 годы. Понравилось все, как и раньше. Не понимаю, какие стихи мы с Харитоновым могли критиковать так, чтобы это вызвало добрые чувства у нашего руководителя семинара. Очевидно, мы, как и большинство выступающих, критиковали не стихи, а человека, исходя из нашего понимания «культуры поведения».

После завтрака Ошанин позвонил Леониду Соболеву:

— Тут ребята, первокурсники, о которых я говорил, хотят выступить, — И через паузу: — У них интересные мысли. — И еще через паузу: — Молодые от имени молодых.

После разговора Ошанин положил трубку, объяснил нам скучным голосом:

— Последний день, много желающих.

Первому на утреннем заседании дали слово Евгению Евтушенко. Он сразу начал отвечать критикам в обычной своей дерзкой манере:

— Основной доклад и другие доклады проходили на уровне школьных сочинений. Я буду говорить о молодых. Тут Доризо назвали молодым, но он, по-моему, не так стар, чтобы молодиться.

Привожу отдельные реплики. Полностью выступление Евтушенко я не записал.

— У дверей Союза писателей стоят писатели-швейцары, которые не пускают туда молодежь.

Кто-то из передних рядов крикнул:

— Молодежь он, а не писатель!

Евтушенко повернулся к президиуму, протянув к ним свою длинную руку, спросил:

— Почему никого из молодых не пускают за границу?

В своей речи он называл фамилии: Юнны Мориц, Беллы Ахмадулиной, Геннадия Айги (Лисина), Валерия Рыжей (Тур).

Последнего нам с Романом не было известно. Валерий Рыжой был знаменит стихами Беллы Ахмадулиной, которые она якобы о нем написала:

Ни шатко, ни валко
Идут у нас дела.
Но жалко мне Вальку
За то, что не дала.

В моем блокноте записано: «Евтушенко говорил зло, красиво, но бездоказательно». Почему я дал такую оценку его речи — «бездоказательно», сейчас уже не могу вспомнить. Скорее всего, это объяснялось тем, что мы всего три месяца назад приехали из провинции в Москву и ничего не знали о некоторых важных событиях, предшествующих «съезду поэтов», как назвали дискуссию рабочие-металлисты в своей приветственной телеграмме.

Леонид Соболев ошибался или хотел, чтобы все присутствующие ошибались, когда объявил с ленинградской трибуны, что это первая в истории русской советской поэзии дискуссия «Поэт и современность».

Как мы потом узнали, первая состоялась в 1957 году в конференц-зале Литературного института. Называлась она почти так же — «Поэзия и общественная жизнь». Это было время после XX съезда — хрущевская оттепель. У многих от доклада Хрущева кружилась голова. На студенческой вечеринке, где был и Евтушенко, 18-летняя поэтесса Юнна Мориц, заявила:

— Революция сдохла, и труп ее смердит.

Ей возразила Белла Ахмадулина:

— Юнна, как тебе не стыдно? Революция больна. Революции надо помочь.

На дискуссии 1957 года обе студентки выступили с позиций, заявленных на вечеринке. На дискуссии присутствовал Михаил Светлов. Он попытался смягчить дерзкое выступление Юнны Мориц. Автор революционной «Гренады» пошутил:

— Мориц не столько Юнна, сколько юна.

Но 18-летнюю студентку, считающую революцию «смердящим трупом», не за эти слова, а за выступление на дискуссии с критикой творчества признанных советских поэтов, исключили из института. Формулировка: «Ввиду нарастания вредных тенденций в творчестве». Исключили и Беллу Ахмадулину, которая собиралась лечить революцию: «за развитие нездоровых тенденций в творчестве». Исключили Геннадия Айги (Лисина) — «за написание враждебной книги стихов, подрывающей основы метода социалистического реализма». Был исключен и сам Евтушенко. Читатель помнит, с какой формулировкой и за что на самом деле. Была дискуссия в Союзе писателей. Обсуждали антиноменклатурный роман Дудинцева «Не хлебом единым». Евтушенко яростно защищал талантливо написанный роман. Были и другие защитники. Многие ошибочно решили, что вообще наступило время для дискуссий. Конечно, Евгений Евтушенко не разделял неисторическую оценку революции Юнны Мориц. Сам он в это время писал в стихотворении, посвященном Ярославу Смелякову:

Пусть обида и лютая,
Пусть ему не везло.
Верит он в революцию
Убеденно и зло.

И «комиссары в пыльных шлемах» пришли в стихи Булата Окуджавы не из «дохлой революции», а из памяти о героях

Шутка Михаила Светлова была, как всегда точна: «не Юнна, а юна». Евтушенко оценил ее тогда и помнил о нерасчетливости, незащищенности девушки теперь. Нельзя исключать юную поэтессу за высказанное в запальчивости суждение.

На дискуссии в Ленинграде он сказал:

— Юнна Мориц, талантливая поэтесса, исключена и вынуждена в Киеве глотать свинцовую пыль в типографии.

Мы с Харитоновым переглянулись. Перед поездкой в Ленинград мы побывали в гостях у Юнны Мориц. Я немного дружил с ней или, может быть, она немного дружила со мной. Мы вместе ходили в кино, я ее сопровождал на почту, где она получала деньги за переводы грузинских поэтов. Иногда она мне читала свои стихи, выдавая их за стихи Беллы Ахмадулиной, чтобы проверить: почувствую я разницу? У Беллы было более громкое имя. Юнна хотела такой же славы. Я разницу не чувствовал. Мастерство и той, и другой восхищало меня одинаково.

Юнна Мориц и Белла Ахмадулина были исключены из института на год, с испытательным сроком. Юнна выдержала это испытание, нигде не выступала, не напечатала ничего такого, в чем проявились бы «вредные тенденции в творчестве». Ее восстановили в институте. Она снова жила в Москве в общежитии Литературного института.

С холодным блеском в глазах и очках, жестко сжатыми губами сказала:

— Увидите там Евтушенко; если он опять начнет рассказывать о том, какая я несчастная, скажите: пусть не беспокоится о моем здоровье. У меня все хорошо. Я вполне здорова. И не нуждаюсь в его защите.

Юнне было известно, что Евтушенко на своих выступлениях говорит о ней сочувственно. Она не хотела, чтобы поэт, получивший скандальную репутацию, жалел её и каждый раз напоминал, что она исключена из института. Возможно, считала такое заступничество опасным.

В Литературном институте были случаи, когда студентов не только исключали, но и арестовывали. В августе 1944 года Аркадий Белинков за создание общества «Необарокко» и роман «Черновик чувств» был осужден Особым совещанием на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Просидел он 12 лет. Юнна училась уже на втором курсе (1956 г.), когда освобожденный из лагеря Белинков снова появился в коридорах Литературного института. Ему надо было сдать около 20 экзаменов и защитить диплом. Он приходил и сдавал все экзамены на отлично. Юнна Мориц хотела доучиться, не привлекая к себе внимания.

Мы с Романом прожили в Москве всего три месяца, не успели толком узнать ничего о «преступлениях и наказаниях» студентов Литературного института.

Во вступительном слове Леонид Соболев сказал:

— Надо разобраться в поэзии РСФСР.

Это эвфемизм. Надо было разобраться с молодыми поэтами. Защищая исключенных после дискуссии 1957 года, Евтушенко защищал тех, против кого и была придумана дискуссия 1959 года.

Это был поступок, не менее важный для него, чем телеграмма протеста Брежневу (1968 г.) против введения советских войск в Чехословакию.

Танки идут по Праге
В закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
Которая не газета.

Танки идут по соблазнам
Жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
Сидящим внутри этих танков...

Сжатый кулак Евгения Евтушенко не пробил враждебную глухоту зала. Мы с Романом сидели в среднем ряду и реагировали на выступление поэта с бантом, как все.

Во время перерыва мы ели сосиски и вносили добавления в свой «доклад». Я

записывал, Роман размахивал ножом и вилкой, диктуя свои варианты отдельных фраз. Юнна Мориц не предполагала, что мы попытаемся выполнить ее поручение буквально. Подумаешь, целый год работала в типографии, глотая свинцовую пыль. Люди не год, а всю жизнь работают в типографии, потому что есть такая профессия — печатать книги. Не пишите, и никто не будет глотать свинцовую пыль в типографии.

Мы вписали в «доклад» подлинные слова Юнны Мориц.

Перед началом вечернего заседания успели показать Ошанину, сделанные добавления, где от имени восстановленной в институте поэтессы, лишали Евтушенко возможности говорить об исключенных студентах. Льву Ивановичу это понравилось.

На вечернем заседании председательствовал Кайсын Кулиев. Вторым он предоставил слово Роману Харитонову. Президиуму, наверное, от Ошанина, было известно, что мы приехали в Ленинград, продав часы. Кайсын Кулиев с улыбкой поведал, как попали на это высокое собрание два первокурсника Литературного института, и пошутил:

— Коня нет, а часы есть.

Мой друг бодро подошел к трибуне. Я сидел, нервно сжав кулаки, переживая за него и за себя. Роман начал по-уличному.

— Мы это писали вместе, я и Эдик Пашнев. Потом поканались на палке. Досталось выступать мне.

«Эдик» — так меня звали в раннем детстве, потом «Эдуард» или по фамилии. Палка на самом деле, ножка стула, тоже была из уличного детства. Роман начал зачитывать записи на листках из школьной тетради. От волнения не всегда быстро разбирал мой почерк. Голос его звучал не очень уверенно, дрожал.

Но прозвучали аплодисменты: один раз, другой. Три раза речь Романа прерывалась аплодисментами, особенно бурными, когда прозвучало обращение Юнны Мориц к Евтушенко: не беспокоиться о ней. Никогда не забуду этого момента. Евтушенко никак не ожидал удара со стороны молодых. Он стоял у косяка двери в позе человека высокого, сильного, умеющего держать удар. Руки держал сложенными на груди, под бантом. Сам себя обнимал. Но лицо его вдруг сделалось растерянно-обиженным. Рассказывали, что у него в глазах слезы блеснули.

Евтушенко не ожидал, что и молодые поэты против него, и даже Юнна Мориц, о которой он так заботился: носил ее рукописи по редакциям, помог опубликовать в журнале «Юность» (Евтушенко пишет — пробил) ее знаменитое стихотворение «Тициан Табидзе».

Позднее, Евтушенко, составитель и издатель антологии «Строфы века», включит подборку стихов Юнны Мориц в уникальный том. И огорченно напишет в предисловии: «Юнна осталась резкой, не выбирающей выражений. Она потеряла многих друзей, не выдерживающих безапелляционных суждений. И сейчас приветливостью себя не утруждает».

Выступивший после Романа известный поэт, председатель Комитета защиты мира Николай Тихонов похвалил наш «доклад».

Мы чувствовали себя героями. Приехали, выступили на «большом семинаре», сорвали аплодисменты. Ошанин похлопал Романа по плечу и слегка приобнял. Мне пожал руку. Лев Иванович был доволен нами. Обратила на нас внимание и красивая молодая женщина, Наташка Бейлина, дочь известного ленинградского критика. Они столкнулись с Романом в коридоре около туалета и сразу понравились друг другу. Наташка Бейлина пригласила Романа и меня к себе домой, познакомила с родителями. Нас посадили обедать за большой круглый стол красного дерева.

Мама поставила тарелки с зелеными цветочками по краям. Принесла пузатую супницу с такими же цветочками на крышке.

— Сервиз, — со знанием дела сказал Роман.

На первое был бульон с пирожками. Роман, как хитрый уличный кот, прищурился и, наклонившись ко мне, прошептал:

— Что-то они жидко готовят.

Этот обед и дальнейшие отношения с Наташкой Бейлиной тоже были призом за выступление.

Переживая подробности прожитого дня, мы возвращались пешком в общежитие. Было уже поздно, ни одного прохожего. На Дворцовой площади из края в край ровным слоем лежал чистый снег. Редкие снежинки кружились в воздухе. Александрийская колонна с ангелом наверху возвышалась над комплексом многоэтажных зданий, охватывающих площадь полукругом. Мы пересекли площадь наискосок, у самой колонны, оставляя после себя следы, как в чистом поле. Было холодно, но красиво.

В институте нас встретили без оркестра: ну съездили и съездили. «Правда» напечатала отчет. Фамилия Харитонова была выделена черным шрифтом. Меня в отчете не упоминали.

Неожиданно нас вызвали в Союз писателей РСФСР — к Леониду Соболеву. Мы явились.

В кресле сидел грузный человек с утомленным, помятым лицом Вожака из пьесы Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Леонид Соболев давно написал все свои книги и теперь только руководил писателями. Вот даже решил разобраться с поэзией в РСФСР, хотя сам писал прозу: «Морская душа», «Капитальный ремонт».

Леонид Соболев, судя по всему, был очень занят. Разговаривая с нами, продолжал перебирать какие-то бумаги на столе.

— Говорят, вы продали часы, чтобы поехать в Ленинград?

— Да, — дернулся рукой Харитонов.

У Евтушенко есть в стихах строчка: «Рукою вспомнил, что забыл часы». Роман рукою вспомнил, что продал часы.

— Мы выписали вам деньги, идите получите.

Мы получили по 100 рублей, вышли на улицу и долго шагали молча. Мы поняли: нам заплатили за выступление против Евтушенко.

Может, надо было поделиться с Юнной Мориц? Но мы не догадались этого сделать.

«Вы под Верлена выпиваете / С набитым плотно животом. / Вы всех поэтов убиваете, / Чтобы цитировать потом». (Евгений Евтушенко. «Верлен»).

У Евгения Евтушенко отзывчивая душа. В начальных эпизодах я сравнил его с сейсмографом. Оказывается, он и сам так воспринимает себя. В мемуарной книге «Шестидесятник» признается:

— Вся жизнь, с поспешной скрупулезностью сейсмографа, я лихорадочно записывал все подземные толчки и землетрясения XX века, и порой мне было не до записывания собственного сердцебиения.

События 1959 года не стали землетрясением XX века ни в литературной, ни в общественной жизни, для многих прошли просто незамеченными. Но было несколько эмоциональных моментов, и я подумал: не мог Евтушенко не записать в Ленинграде свое сердцебиение в каком-нибудь стихотворении. В его книге «Весь Евтушенко» (1450 стр. большого формата) я нашел, по всей видимости, декабрьское стихотворение, ибо оно помещено на страницах книги в конце 1959 года. Я его читал раньше, но как-то не понимал, что это написано и про нас с Харитоновым...

ДАВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ!

Я был жесток.

Я резко обличал,

О собственных ошибках не печалюсь.

Казалось мне —

Людей я обучал,

Как надо жить,

И люди обучались.

Но —

Стал прощать...

Тревожная примета!

И мне уже на выступление где-то

Сказала чудненький очкарик-лаборантка,

Что я смотрю на вещи либерально.

Приходят мальчики,

Надменные и властные.

Они сжимают кулачки влажные

И, задыхаясь от смертельной сладости,

Отважно обличают

Мои слабости.

Давайте, мальчики!

Давайте!

Будьте стойкими!

Я просто старше вас в познании своем.

Переставая быть к другим жестокими,

Мы молодыми быть перестаем.

Я понимаю,

Что умнее —

Со стыдливостью.

Вы не разумнее,

Но это не беда.

Ведь даже и в своей несправедливости

Вы тоже справедливы иногда.

Давайте, мальчики!

Но знайте, —

Старше станете

И, зарекаясь ошибаться впредь,

От собственной жестокости устанете

И потихоньку будете добрей.

Другие мальчики,

надменные и властные,

Придут,

Сжимая кулачки влажные,

И, задыхаясь от смертельной сладости,

Обрушатся они

на ваши слабости.

Вы будете —

Предсказываю —

Мучиться,

Порою даже огрызаться зло,

Но все-таки

В себе найдите мужество,

Чтобы сказать

Как вам ни тяжело:

«Давайте, мальчики!»

Не постеснялся признаться, что устал от критики, порою огрызается зло, но считает процесс смены поэтических поколений естественным и призывает, в том числе и первокурсников, приехавших в Ленинград: «Давайте, мальчишки!»

По возрасту Евгений Евтушенко — не старше. Мы — ровесники. Он это четко обозначил: «Я старше вас в познании своем». В отличие от нас, Евтушенко, ввиду особой одаренности, был принят в институт без аттестата зрелости; и одновременно его приняли в Союз писателей, по книге «Разведчики грядущего», изданной в 1952 году. Символично, что в творческий вуз вместо аттестата он предъявил книгу стихов. Для того и существовал этот институт, чтобы люди после его окончания издавали книги. А он пришел в институт с книгой.

Значит, даже в сталинском Союзе писателей кто-то понял, что на смену поэтам-воспевателям, иногда очень хорошим («Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Исаковский) пришел поэт-сейсмограф, записывающий глубинные толчки общественной жизни. Нам предстояло повзрослеть «в сознании своем», чтобы понять это.

«Не ругайтесь с нынешнего дня. / Вы меня в дорогу проводите... / Ухожу я не с одной виною — / с мужеством и правдою в груди, / честный перед тем, что за спиною, / сильный перед тем, что впереди». (Евгений Евтушенко, 1955 г.)

Мы жили в переходный период. Еще существовала цензура, но уже можно было думать, а иногда и говорить, что она не нужна. В литературе — это было время для дискуссий; у художников — время для неофициальных выставок, устройство которых, в конце концов, закончилось «бульдозерной» выставкой.

У нас в общежитии Литературного института (без всякого объявления) состоялась выставка художника-графика Геннадия Мазурина. Из чей-то комнаты на третьем этаже вынесли всю мебель, и художник развесил по стенам картины не в рамках, а просто прикрепил кнопками к обоям графические листы-ватманы. Сюжеты из лагерной жизни, портреты с немymi кричащими ртами жертв сталинской эпохи, иллюстрации к докладу Никиты Хрущева на XX съезде.

Народу собралось немного: пришли, кто случайно узнал и кого пригласили. Мы жили на втором этаже, поднялись на третий. Дверь выставочной комнаты была широко распахнута в коридор.

В комнате вдоль стен уже ходил Евгений Евтушенко.

Он заметил наше появление, и некоторое время пристально смотрел на Романа.

— Я тебя мог где-нибудь видеть? — спросил Евтушенко.

— Мог.

— В Ленинграде?

— Да.

Кивнул, стал сосредоточенно рассматривать портреты на стене. Стало понятно: вспомнил. Он видел Романа на Всероссийской поэтической дискуссии; и больше того, он видел его на трибуне, когда первокурсник Литературного института передавал ему «привет» от Юныи Мориц.

Евтушенко двинулся вдоль стен, уходя от нас. Но шел слишком быстро и, сделав круг, снова приблизился. Ему хотелось поговорить с Харитоновым.

— Тебе какая картина нравится? — спросил он.

— Эта!

Роман показал на композицию, где были изображены женщина и девочка, укутанные одеждой, под фонарем. В нижнем уголке картины вместо названия стояла дата «1937 год».

— Мне тоже — «эта»!

Возможно, присоединился к мнению Романа, чтобы наладить контакт для разговора. У него уже были написаны стихи: «Не важно — есть ли у тебя преследователи, а важно — есть ли у тебя последователи». Он не мог понять: почему мы, молодые, от имени которых он выступал, были не с ним, а с «преследователями». Хотел просто спросить. И спросил:

— Ну, и как ты теперь относишься к поэзии после дискуссии в Ленинграде?

Мне показалось: несколько человек перестали двигаться вдоль стен, перестали рассматривать картины, прислушались.

— Так же, как ты, только чище, — ответил Харитонов.

В ответе прозвучало эхо ленинградской дискуссии, когда все критиковали стихотворение Евтушенко «Кровать была расстелена, а ты была растеряна...».

Дискуссия закончилась, дискуссия продолжалась.

Я понимаю: мы с Романом Харитоновым не очень хорошо выглядим во всей этой истории. Но так было.

